

«Проза Рязского — это рассказ своими словами  
уже снятых — как-то же различа? — фильмов.  
Выстроенный кадр, свет, монтаж, драматургия в целом  
сюжете и в каждом эпизоде. Чистое кино».

Дмитрий Быков

Григорий Рязский

# ПОД- МЕ- НЬ

«Григорий Рязский — драгоценный и единственный  
русский кинорежиссер, который любит людей».

Дмитрий Быков

# Григорий Викторович Ряжский

## Подмены

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=17181971](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17181971)*

*Подмены : роман / Григорий Ряжский: Азбука, Азбука-Амтикус; Санкт-Петербург; 2016  
ISBN 978-5-389-11182-0*

### **Аннотация**

Жизнь семьи Грузиновых-Дворкиных складывалась вполне респектабельно: глава семьи – герой Отечественной войны, дошедший с батальоном до Праги, профессор, заведующий кафедрой; жена, красавица княжеских кровей; подающий надежды сын; просторная квартира в центре Москвы... Но ветры перемен не минуют в российской истории никого, и вот, уже в послевоенные годы, семейная идиллия дает трещину. А все началось с внезапного уплотнения, когда на профессорскую жилплощадь подселяют загадочную чету Рубинштейнов. После этого жизнь превращается в сплошные подмены. Ведь почти у каждого в благополучном семействе спрятано в шкафу по скелету, а у кого-то и не по одному.

# Содержание

1	5
2	18
3	30
4	41
5	51
Конец ознакомительного фрагмента.	54

# Григорий Рязский

## Подмены

© Г. Рязский, 2016

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

© Серийное оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

\* \* \*

*Благородный говорит лишь о достоинствах ближнего, даже если тот лишён их; низкий – лишь о недостатках. И пусть оба они лгут – первый идёт на небо, второй – в преисподнюю.*

*Из Дхаммапады («Стезя добродетели») – изречений буддийского канона*

# 1

Сколько он себя помнил, они всегда жили вместе, небольшой, но единой семьёй, на Каляевской, неподалёку от которой Лёка и родился, в «Крупском» роддоме. Через двадцать лет семью вынудили уехать, кого куда, передав их четырёхквартирный двухэтажный флигелёк, вплотную примыкавший стеной к «туполевской» сталинке, под ателье пошива зимней одежды. Но уехала семья, взяв с собой лишь маленького Гарьку, без Лёки и без Кати: те уже не смогли. Кстати говоря, и Рубинштейны остались там навечно, в комнате с эркером и видом на дворовый палисадник с золотыми шарами. Верней, не сами – дух их. Или душа, Лёка так и не успел в этом нормально разобраться.

Квартира располагалась на втором этаже, к ней вела спирально изогнутая лестница с широкими шлифованными ступенями из прессованной мраморной крошки. Ступени эти вечно были прохладными, даже в летнюю жару, и нежными на ощупь, если их как следует потрогать. Хотелось, прижав к ним ладонь, водить ею туда-сюда, после чего и возникала острая необходимость повторить эту операцию, но уже при помощи задницы. Он садился на край верхней ступеньки и, отталкиваясь руками, энергично съезжал вниз, ощущая копчиком каждый скруглённый мраморный торец. Испачкаться не боялся. Ему казалось, нет там ничего грязного, потому что эта сверхгладкая, десятилетиями истираемая каблуками мраморная поверхность отшлифована была настолько, что даже обрела незаметные провалы ближе к середине каждой ступени. И как сюда прилипнет пыль и грязь? Дунь – и всё скатится без любого сопротивления.

Перила, собранные из отдельных кусков необычайно твёрдого дерева, тоже были изогнутые, и всякий раз Лёка, пытаясь с помощью перочинного ножичка оставить у своей двери очередной памятный знак, сталкивался с серьёзным отпором со стороны перильной деревяшки. И всё же со временем он кое-как выковырял тут и там, а скорее, даже процарапал, не сильно повредив само дерево, через бурый корабельный сурик, которым были крашены перила, свои тайные знаки: «ЛГД» – Лев Грузинов-Дворкин.

Зато по твёрдому округлому пути, начав спуск с верхней точки и приближаясь по мере ускорения к завершающему перегону, было удобно съезжать вниз, где конец поручня заворачивался в причудливую виньетку, которую, судя по всему, просто не успели выломать варвары времён, предшествующих Лёкиному детству. Была опасность нарваться и на неприятность, поскольку завершающая часть поручня, сразу же перед виньеткой, была отодрана от кованой основы. Теперь в этом месте торчали лишь сточенные штырьки, и потому каждый раз следовало соскакивать с осёдланных перил, чуть-чуть не доскальзывая до первого опасно торчащего препятствия.

Ножичек подарил отец, Моисей Наумович. Вручив, сказал:

– Понимаю, что не для карандашей, но и не для парты, договорились? Режь лучше своё, по крайней мере, какое-то время не нарвёшься на неприятность. А случится, разбираться будем вместе.

Он и резал своё, считая, что зона перил напротив их двери принадлежит исключительно Грузиновым-Дворкиным. Правда, полноценное обладание ею было и до его рождения, когда вся эта большая квартира принадлежала только их семье. Получилось так, что после войны какое-то время к ним никого не подселяли, учитывая геройские награды отца, дошедшего до Праги. Отцовская гаубичная батарея крепко поработала там над фашистскими недобитками. Уже в самый последний раз.

Ну а потом, через восемь лет после победы, везение разом кончилось, почти сразу после смерти Сталина. И начался коммунальный рай. Ближайшую к прихожей комнату, самую большую, отдали подселенцам, насовсем. Сказали, больно широко у вас, товарищи

дорогие, подвиньтесь. И вселили пожилую супружескую пару, хотя и еврейскую, но страшно нелюдимую, и потому рай не задался ещё и по этой дополнительной причине. Готовили на кухне в очередь, молча кивали друг другу, а чаще просто отводя глаза, и ничего одни о других не знали. Соседи были тихие и, кажется, недобрые. Моисей Наумович предполагал, что либо оба крепко побиты жизнью, либо, наоборот, никакой жизни не отвели вообще. Так, разве что, насекомничали по малой, питаюсь как придётся и в упор не видя никого вокруг. Но друг другу подходили как нельзя лучше.

Бурого колера панбархатный на шифоне халат с кистями у пояса, один на двоих, идеально сидел на обоих стариках, меняя тела строго через день, за вычетом праздников, когда оба принимали отчасти человеческий вид и, перемещаясь по внутриквартирному маршруту комната – кухня – ванная – туалет, невольно обнажали некую вторую сущность. Праздников у них было три, и никто не знал, что они отмечают, какие такие даты, коль скоро дни эти не совпадали ни с Новым годом, ни с Первомаем, ни с Октябрём, ни с каким-либо ещё днём вроде Победы или Восьмого марта. В такие празднества, общие для людей нормальных, супруги, казалось, вообще исчезали, выпадая из границ понятного жития и покидая пределы комнаты лишь в силу острой необходимости. Чем звонче и наполненней протекала жизнь вокруг получокнутой пары, тем смертельней становилась тишина за дверью, скрывающей пространство их существования, что примыкало к прихожей через тамбур и толстенную, не пропускающую лишних звуков стену прошловековой кладки.

Им не звонили, никогда. Даже с почты и даже по редкой надобности. При звонке если кто-то из двоих оказывался вне пределов затворничества, то резко вздрагивал, весь, целиком, не только плечами или отдельно подбородком – словно ждал нехорошей вести из тайной преисподней. Сами же – избегали телефона, предпочитая лишний раз сходить и выяснить, нежели добиваться чего-то при помощи коммунального аппарата. Вспоминая детские годы на Каляевской, Лёка всякий раз удивлялся одному и тому же – не мог вспомнить звучания их голосов, что одной, что другого. Они и меж собой почти не разговаривали, по крайней мере на людях, при соседях. В общем пространстве квартиры, ставшей коммуналкой, если и появлялись, то непременно поодиночке, соединяясь плечом к плечу лишь в редкие моменты, когда куда-то вместе уходили или возвращались. Наверно, звуками непрошеного голоса боялись нарушить привычную для них тишину.

Короче, загадка и только.

В такие тайные дни на ней неизменно была вязаная кофта, всегда одна и та же, рыхлая и какая-то ошпаренная – «никакая», как сразу же окрестила её Лёкина мама Вера Андреевна. Под кофтой – платье, в пол и глухое наверху, – нечто вроде самодельно крашенной к празднику мешковины. Вместо тапок – какие-нибудь сутулые туфли на среднем каблучке. Когда наступала на паркет, туфли издавали жалостный скрип, словно, скукожившиеся от долгого неупотребления, всякий раз при этой редкой носке насильственным образом раскукоживались обратно.

Они и сами были сутулые, оба. Вечно не смотрели перед собой – больше всё куда-то вниз, предпочтя стенам паркет: наверно, искали в нём подходящую для себя щербину. Пессимисты часто сутулятся, полагал отец: как правило, не вполне естественным образом соглашаясь с миром; они ведь вобраны в себя, ужаты, спрятаны, потеряны в чуждом нормальном человеку, изначально свёрнутом в неподатливую трубочку объёме собственной жизни.

Супруг, в смысле праздничного одеяния, не особо отличался от супруги. Разве что туфли не скрипели, оставляя это занятие пожилым костям. Пиджак всесезонного назначения, точно такой же никакой, как и жёнина кофта, практически лишённый любого внятного цвета то ли по причине аккуратной изношенности, то ли в силу хитрой ткани, был ему явно велик, хотя ощущения, что вещь с чужого плеча, тоже не было. Так или не вполне, в любом случае пиджачок тот обвивал соседа безвольно спущенными плечами и пустотелыми боко-

винами, образовывая при ходьбе болтанку. При всём при этом – такое тоже чувствовалось почему-то – предмет был в стариковском гардеробе не случайным. И это обстоятельство не мог не отметить наблюдательный Моисей Наумович. А возможно, старик просто окончательно исхудал, как безнадежно раковый больной, но расстаться с вещью так и не сумел. Или, к примеру, оба были бедны, как церковные мыши, и не могли себе позволить любую мало-мальски приличную обнову. Да мало ли чего. Они были именно такими, эти странные муж и жена.

Её звали Девора. Девора Ефимовна. Его – Ицхак. Оба – Рубинштейны. Отчества его Лёка, кажется, никогда не знал, вообще. Помнится, он спросил отца, когда уже слегка созрел и помимо всякой детской хрени стал интересоваться прочими совершенно ненужными по жизни вещами. Так вот, просто поинтересовался, что за имя такое идиотское у нелюдской соседки, какая ещё Девора, почему не как у всех нормальных. Ну была бы хоть Деворкина какая-нибудь, почти как мы, Дворкины, – куда бы ни шло. А так – одно издевательство над именем, да ещё и неприветливая, как истуканша, и к тому же тощая, как поношенное пугало, лишённое облачения после длинной голодной зимовки.

Ко времени рождения Лёки Девора и Ицхак уже проживали в коммуналке около года. На появление у соседей маленького они никак, казалось, не прореагировали. Просто постарались жить ещё тише, выбираясь в места сосуществования с бывшими единоличниками в часы, когда не рассчитывали встретить там никого, кроме мухи, по случайности не убитой Лёкиной бабушкой Анастасией Григорьевной, наезжавшей нечасто, но зато люто ненавидевшей всяких нечистых насекомых, а заодно и непрошенных соседей. Вероятно, такая нелюбовь передалась ей по отцовской линии – от неведомого дедушки Андрея. В Воркуте, откуда она прибыла в столицу, мух не водилось. Другое в обилии наблюдалось – мошка и москиты. Вторые – злющее, убийское комариное племя в тундровом обличье, где каждая особь, если нормально насосётся, размером делается с добрый православный нательный крест, не меньше.

Будучи женщиной суровой северной выделки, Анастасия Григорьевна много строже других членов семьи отнеслась к уплотнению квартиры чужими, хотя на постоянной основе и в едином с соседями пространстве стала жить лишь после того, как перебралась в Москву, в 1968-м. До этого бабка ненавидела супругов один или два раза в год, в ходе регулярных наездов в столицу с далёкого Севера. Каждый раз, ожидая её появления, Моисей Наумович комментировал ситуацию примерно так:

– Готовьтесь, ближние: до начала полярного сияния остаётся три дня – вот-вот засияет и осенит.

Там, у себя в Воркуте, в окраинной неделимой однушке когда-то она проживала вместе с дочкой, и если выбросить из подсчёта самый первый их дощатый барак, то прообитали они в ней, считай, от самого рождения и вплоть до минуты спасительного маминого бегства. Жить было холодно, тесно и безнадежно. К тому же ещё и темно, если отбросить полгода всё той же неудобной слепоты, но уже от незаходящего светила.

Оказавшись на Каляевской, обе выдохнули разом: правда, сначала дочь, Вера, а спустя ещё пятнадцать лет и сама Анастасия Григорьевна – и потому, что – Москва, центр, паровое отопление, постоянно горячая вода, белокафельная ванная со всяким остальным, и оттого ещё, что – отдельно от других, без никого. Сами. Как позже скажет гонимый властью поэт – «сам себе быдло, сам – господин». В общем, в разное время привыкали к хорошему. А тут – эти, забравшиеся в чужую малину, хоть и не по своей подлючей воле.

Она и на самом деле была Грузиновой – дальним потомком дворянина, геройского офицера царской армии, бесстрашного участника военных действий на Северном Кавказе в связи с основанием Россией в конце восемнадцатого века крепости Моздок. Ну и Русско-турецкая там же, как без неё. К тому времени он уже был генерал. В 1783-м лично

участвовал в подписании акта перехода Крыма от Турции к России, как, впрочем, и Черноморского побережья от Южного Буга до Днестра. В общем, гордиться было чем, если бы позднее одного из его менее счастливых потомков не сослали в северные мурманские территории как участника антираспутинского заговора – против известного старца, любимца императрицы Александры Фёдоровны. Заговор возглавил Великий князь Николай Николаевич, участвовал в нём и гофмейстер Высочайшего двора Михаил Владимирович Родзянко. Но только душой провалившегося комплота, как и главным тактиком всех действий, стал князь Григорий Петрович Грузинов, флигель-адъютант. Следствие по делу длилось около года. В 1915-м в итоге всех разбирательств исполнительница акта мести, всадившая нож в живот святого прорицателя, была признана душевнобольной и заключена в психиатрическую лечебницу города Томска. Да только в ходе дознания через эту наполовину безумную Хионию Гусеву и выяснилась роль князя Грузинова, который, будучи сразу же взят под стражу, так и не открыл рта в ходе всех следственных действий. За это и был сослан в мурманскую каторгу. Впоследствии он, бывший каторжанин, там и остался – уже после разгрома большевиками царской каторги – помирать. До этого успел пожить около полугода с матерью Анастасии Григорьевны, брачный документ с которой тамошний комиссар самолично заверил подписью и печатью. После кончины Григория Петровича жена покинула те гиблые места, увозя с собою на новые земли в животе дитя, названное после Настасьей. В итоге всех дел семья оказалась в Воркуте. А теперь – тут, на Каляевке. Вера, она же дочка, Лёкина мать, стала супругой москвича, будучи одной из его, деда Моисея, студенток, а Анастасия Григорьевна, стало быть, сделалась ему тещей, какую приняли в состав семейства на законном основании, как дворянку и вдову. А если совсем по-настоящему, то – как княгиню.

Действительно, коли хорошо и не наспех всмотреться, то в чертах лица Анастасии Григорьевны, отбросив мешающую внимательности взгляда лёгкую хабалистость нрава, и на самом деле можно было обнаружить остатки явной породы, имевшей без сомнения природу естественную и вековую. «Ну просто портрет графини Орловой кисти Валентина Серова», – в первый раз, как только увидал, прокомментировал внешность первообретённой тещи зять Моисей, уже знавший к тому времени кой-чего не только из области теореме и сопромата. Тонкий нос с широко разнесёнными крыльями, большие тёмные глаза под высоко вздёрнутыми излучинами бровей, вечно чуть поджатые и будто недовольные тонкие губы, на удивление приличная кожа, несмотря на многолетнее обитание в тундровой местности вблизи угольных шахт, длиннющие пальцы с тонкими прожилками вен – всё это делало воркутинскую тещу отчасти загадочной и располагало к общению помимо дел бытового домашнего спектра. Несколько, правда, сглаживало первое доброе впечатление от наружности Анастасии Григорьевны полное неумение её выглядеть так, чтобы остатки не до конца размытого дворянства хотя бы минимально работали на носительницу милых черт. Голову она обычно повязывала пёстрым шарфиком, ухитряясь прижать непослушные волосы таким манером, чтобы часть их, будучи выпущенной наружу, образовывала вполне себе молодую чёлку. Обычно из этой затеи мало чего толкового получалось. Волосы всё равно торчали неровно, и, чтобы избежать неприглядности самодельной укладки, она, предварительно напенив, взбивала их и сушила горячо. В итоге образовывалась сомнительная пакля, которую Анастасия Григорьевна доводила до ума уже по частям, вилкой, чтобы каждую прядку подвить понизу и, соединив с другими, выложить в общую дурную грядку. Ну а верхнюю одежду почти не покупала – выисканные там и сям фасонистые тряпицы предпочитала отдавать в московский пошив. Не брезговала и удешевлёнными обрезками лёгких тканей, в основном для лета, из которых, если по уму, прекрасно сострачивались не только домашние фартуки с оборкой, но и сезонные платишки, блузончики и всякое остальное воздушно-невесомое, особенно для сезонного тепла. В тундре носить подобные разносолы

было и не по погоде, и некуда. Да и здесь, в общем, тоже никто особенно в гости не ждал, хоть и столица. Не приёмы же посещать в тутошной Оружейной палате.

Как ни старалась, получалось нескладно. То нечто непотребное вылезало вдруг в самом непрошеном месте, выдавая явное неумение выглядеть пристойно. А то вдруг не сочетаемое ни с чем барахло в виде тёплого плюшевого жакета на ватной подкладке, пригодного разве что к носке в паре с валенками без галош, оказывалось в гардеробе главным и, будучи соединённым с туфельками на среднем каблучке, являло собой верх безвкусицы, а порой и прямого нераспознанного бесстыдства. Дочери, Вере, по большому счёту было всё равно, она больше занималась мужем, ожидая от того дальнейшего успешного продвижения по службе. Надо было пробиваться наверх, ближе ко всем этим профессорам и кафедрам, чтобы, во-первых, отделиться через это от соседей, а во-вторых, и самой со временем сделаться профессоршей при своём профессоре. И это была мечта.

А мама... После того как она объявилась, чтобы жить и умереть при родне, то, пока была в силах и при теле, взяла на себя хозяйство, компенсируя отчасти непротивление Моисея Наумовича забрать её в качестве нагрузки при жене в общую отныне столичную жизнь, в самый центр большого города на семи холмах. Она же, чуя своим безошибочно волчьим дворянским органом расположенность к себе зятя, мало-помалу начала обретать в семье влияние, каким не обладала сроду и которому негде было, по большому счёту, проявиться в прежней жизни. Однако и особенно самоутверждаться было не на ком: внука искренне любила, держа того за продолжателя рода Грузиновых и больше ни за кого. А то, что добавочно поселилась в нём доля чужеродной крови, делу не мешало: такая слабая помеха, если сравнивать со столичной площадью и мужнины перспективы для дочки, была по сути никакой. А тут как раз и первая пенсия подоспела, уже на новом месте и с сохранением северной надбавки, – чем не жизнь?

– Мама, – порой корила её Верка, – ты хоть что-нибудь культурное бы посетила, театр какой-нибудь или филармонию. Там люди разные, бывают и с Севера, из руководства. Глядишь, интересами сойдёте с хорошим командированным, и будет тебе к жизни прибавка. Не любовью, так презентами. Знаешь, какие они суточные имеют, кто директора разные и остальное начальство. Плюс дичайшие премиальные по вводу-выводу объектов в срок.

Тайно Верка всегда хотела жить с матерью отдельно, чтобы пересекаться с ней лишь по датам или в силу семейной необходимости. Но в нужный момент из-за собственной слабыхарактерности оказать сопротивления так и не сумела: пришлось к пенсии забирать маму в Москву, припомнив, что та родила и подняла её сама, в одиночку, без отца и любой сторонней помощи. Что мазала от комарья, кутала в тёплое, вытирала младые сопли и учила уму-разуму, в результате чего и оказались обе они там, где с неба первые полдня нормально светит, а в остальное время окутывает приятной недлинной темнотой. И так – круглый год.

И потому её мать всегда и всеми считалась натурой сильной. Сама она такой не была, и обе это знали. Видно, донская дворянская закваска, со временем переродившись в окончательно лёгкие фракции, уже принялась, начиная с последней в грузиновском роду дочки, активно выветриваться. Верочка плыла уже в совсем другой воде, мелкой и мутной, которая больше относилась к отмели, нежели подправляла обратно к глубоким водным просторам.

В свою очередь, Анастасия Григорьевна никак не могла взять в толк, отчего такому головастому, хоть и пархатому мужчине, как Моисей Дворкин, приглянулась её Верка – невидная в общем и целом девица, порядком с ленцой и без особенной способности к учёню. Да так понравилась, что, считай, сразу же замуж позвал. Поначалу подумала, умысел есть, расчёт. После, прикинув так и сяк, версию эту начисто отмела – сообразила, что ни то, ни другое никак не просматривается даже через мощную лупу, встроенную в материнский глаз, закалённый северным сиянием прежних мест.

Дочке же на пробные заходы её отвечала следующее:

– Может, оно, конечно, и так. И суточные, и всё остальное. И даже пускай он меня как женщину сразу с первого раза одолеет – не сахарная, не растаю. А только потом что? Увезёт к себе в тундру, к седым снегам? Северных оленей погонять? Так я сама только оттуда и больше меня в те места никаким начальником не заманишь, хоть сейчас тройную северную надбавку давай и роспись в паспорте штампуй. – Излагала стройно и жёстко, имея в голове ясность мысли и отчётливость перспектив. – А если из местных, так на кой я ему? Жёнины дефекты мордой своей дворянской оттенять? Наши дома – ваших нет? А коли натурально влюблюсь, не дай господи? Как с отцом твоим было. Дура была, хоть и не девочка уже, ночью-то полярную не с одним до него сночевала. И не одну.

– Ну да, ну да... – раздумчиво поддакивала Вера, лишний раз убеждаясь, что таким, наиболее простым, способом отделаться от родительницы не удастся. – Ну да...

– Или думаешь, ту бросит, а меня заберёт? – не унималась мать. – Чтобы чего? Насладить внутренность свежей оленьей вырезкой, а после заявить, что передумал разводиться? Так он лучше сообщит потом, что не может так вот просто, разом, предать мать своих законных наследников. Что прожил с ней, нелюбимой, большую трудную жизнь и теперь, как водится, опасается за её психическое здоровье. И не забудет намекнуть, что и сам здоровьем уже не тот, что ни инфаркт, так инсульт вот-вот прихватит, а оно тебе надо? Ты ж красавица, умница, столбовая дворянка чистого разлива, и сам я не стою ни грамма души твоей, ни сантиметра твоей божественной плоти. – Анастасия Григорьевна привычно махнула рукой. Жест вышел чуть театральным, но правды жизни в нём тоже хватало, даже с избытком. – Зато умник твой слов таких никогда не произнесёт, даже не сомневайся. Твой – верный, у него это на носу написано и на лбу. Раз взял – будет тянуть, как телегу. Скрипнешь – тормознёт, подправит, смажет. И дальше потянет. Хоть ты ему в другую сторону быка запрягай. А только всё равно не бросит и не уйдёт, раз взял. И Лёка для него пуще самой родной драгоценности. – Она задумчиво вздохнула, но сам по себе этот тяжкий вздох ещё ни о чём не говорил: просто служил, верно, пригодной связкой в россыпи доказательств материнской мудрости.

– Так и прокуеешь остаток жизни? – пожала плечами Верка, сменив внезапно подступившую надежду на привычно укоренившееся сочувствие. – Только при нас, без никого? Не заскучаешь, мам?

Внезапно Анастасия Григорьевна взбодрилась, поднялась со стула, энергично ткнула пальцем за стену.

– А некогда скучать, доча, у меня даже тут ещё не всё по местам расставлено. Вон, враги-то, как жили себе, так и живут припеваючи: надо ж думать теперь, чего с ними делать. Вы-то сами с Моисеем чесались аж с пятьдесят пятого, ничего не делали, никого как надо не нагибали, хоть и сам уж профессор-перепрофессор, а только какая с того радость? Где результат, какой он, в чём? Так или не так?

Что ей отвечать, Вера не знала. Люди там, за стенкой, были тихие, неслышные и сильно к тому же пожилые. Некоторое неудобство исходило разве что из аннексии ими части пространства, к которой все они, не включая воркутинскую княгиню, успели давно привыкнуть, и всё это время рассматривали отъятую комнату не иначе как окончательно чужую личную собственность. Между тем для усугубления необъявленного противостояния, точнее сказать, в целях достижения односторонней напряжённости мама предположила:

– Она ещё ладно, старая, но хотя бы мимо толчка не ходит, я за ней не замечала. А он, Ицхак этот, наверняка мимо ссыт, длинный как жердь, кривой весь какой-то, неуклюжий, как сушёный бычий хвост. И как такому без промаха в очко попасть? Вот увидишь, рано или поздно зассыт всю уборную, а мне за ними подтирай.

Так оно, по её мнению, всё и было. Две ползучие гадюки тихой сапой поселились на чужой земле, которая Грузиновым была всегда своей, да разом перестала такой быть. Кон-

чилась благодать, а вместе с ней перекрасились и будни, сделавшись серыми против прошлого весёлого колера. Гадюки, правда, не шипели и не пугали. Жили и кормились у себя в норе, едва-едва выставляясь наружу, да и то когда практически не имели шанса пересечься с законными хозяевами. Даже загаженный ими туалет, как иногда представлялось теще, и тот оба посещали реже необходимого, словно справляли промежуточную надобность ещё и в тайный горшок, стыдливо опорожняемый по ночам.

Уже когда только наезжала, но ещё не жила, за единственных и неделимых хозяев, а не только прописанных по каляевскому адресу жильцов, Анастасия Григорьевна держала исключительно Грузиновых, к коим в первую очередь относилась дочура и себя. Сразу после них шёл Лёвушка, внучок, он же Лёка. И завершился список, уже по остатку, остальными. В остальном единственном числе значился зять, Моисей Дворкин, учёный и будущий светила по какому-то там научному делу его профиля. Были у него и родители, но те, отбыв в эвакуацию в сорок первом, так обратно в столицу и не вернулись, решив доживать в Свердловске, чтобы получилось подальше от сталинской Москвы. А теперь оставался лишь отец, старый и давно женатый на другой. Он вообще у родителей своих поздним случился, зять-то её. Обоим уж под сорок с чем-то сделалось, когда Моисей у них по случайности зачался. Сам зять в подробностях об этом не распространялся: видно, не любил лишний раз обсасывать этот не слишком приятный для него момент. Тем не менее нечто такое теща всё же выловила для себя из этой непроговорённой как надо истории – то ли сидел батя его, но не хотят ей про него правду открыть, то ли войны боялся пуще положенного, или же попросту Сталина так люто ненавидел, что даже не помышлял подступать к кремлёвскому бункеру на расстояние ближе Уралмаша, на котором в годы войны успел поработать начальником цеха и от которого получал теперь пенсию и небольшой добавок. Или была ещё чисто собственная версия, что батя Моисеев где-то на стороне молодухой увлёкся, уже на излёте лет, хоть война ещё и не кончилась, а жена того не перенесла и отдала концы. И там же похоронена была, пока сын её немца бил.

С первого же дня возникновения в квартире посторонних Лёку, будущего Гарькиного родителя, а тогда ещё первоклассника, из огромной столовой и одновременно детской, ставшей в одночасье бывшей, переселили в отцовский кабинет, после чего родитель вместе с письменным столом, многочисленными книжками и всем остальным научным обременением переехал в супружескую спальню. От этого Вера поначалу кисла и всю первую неделю ходила пришибленной. Но делать было нечего, кроме как привыкать к новым условиям существования в одном пространстве с чужими. К тому времени Моисей Наумович давно успел уже защитить первую диссертацию и успешно трудился у себя на кафедре в Горном институте, доцентом. Параллельно думал о докторской – той, которая смогла бы, если постараться, если не перевернуть ряд современных представлений о механике по разделу твёрдого деформируемого тела, то уж, по крайней мере, подсказать кое-кому из Академии путь, как и куда им лучше подвинуться, чтобы расчистить место для свежих теорий и новых персон. Между тем обитать в обновлённых границах владений стало тесновато, но никто не жаловался. Моисей пробовал было сходить в исполком и военкомат: прицепил орденские планки, всё честь по чести, а только вышел поход тот неудачным – цыкнули и там, и тут, несмотря что фронтовик. Завели глаза в потолок – сказали: вы разве же не в курсе, что линия партии поменялась? Уплотнение – не наша прихоть, это надобность государства в достижении социальной справедливости. Виссарионыч-то – всё, ку-ку, нет больше уса-того Иосифа, а народ-то, сами знаете, чередой с мест лишения потянулся: и кто имел жилые метры до посадки, и кто не имел. А всем дай по возможности, коль уж отобрали: по навету, по закону или без него.

Моисей тогда не растерялся, потому что первый раз в жизни крепко обиделся. Сказал тем и этим:

– Так вы же сами и отбирали, вот и отдавайте своё, незаконно хапнутое. Чего же вы людей-то уплотняете, которые этого не заслужили?

После было разбирательство. В военкомате – там пилюлю проглотили, просто не стали вступать в бесплодную дискуссию, списали на нервы геройского бойца. Очень даже понимали, что такое четыре года на передовой, к тому же ещё этот наградной иконостас и все – боевые. А исполкомовские, по старой памяти, – написали. Изложили тему, ещё и подогрели от себя. Оно и ушло в инстанцию. Там глянули и отчасти согласились. Но и отмахнулись, учитывая, что фронтовик и ордена имеет. А только бумагу в Горное заведение всё равно сбросили, в кадры. Всё ж беспартийный, хоть и герой, а хуже не будет. Именно с того момента головастому Моисею Наумовичу Дворкину и был установлен его гражданский предел: не выше доктора технических наук по научной линии и не старше завкафедрой – по должностной, учебной. На жизнь вперёд. Учёлся при этом, хотя и не как основной, и национальный аспект. Заодно. Так и так когда-нибудь пришлось бы, скорей всего, сук подрубить, кабы совсем уж беззастенчиво в гору пошёл. А так – упредили, и всем от этого только спокойней.

Шло время, а вид и сама тактика борьбы с пришельцами всё ещё хорошо не определялись. Нельзя сказать, что, наезжая, бедная Анастасия Григорьевна окончательно извелась в попытках как-то приструнить неправых подселенцев или же достичь справедливости иным порядком. Тем не менее тактика борьбы оставалась прежней – не подавать виду, что она информирована о том, что старики тоже люди и у них тоже хоть и коммунальные, но права. Плюс к тому всем видом дать понять, что полоса отчуждения для подселенцев начинается ровно по выходе из незаконно отобранных метров и заканчивается для них же местами общего пользования. Однако достреливали до них её мысленные посылы или же угасали непосредственно перед вражеской дверью, не умея одолеть преграду, достоверно никто не знал. Да и знать, если уж на то пошло, было некому. Моисей Наумович, что вполне объяснимо, вообще не был в курсе происходящего в доме единоборства с пустотой. Он уже почти вплотную подошёл к наиболее тонкому месту проблемы, решение которой и должно было стать предметом диссертации, и было ему не до сочинённых не им глупостей. Лёка учился, Гагарин только-только слетал и вернулся; и вообще, привычный неудобный страх, сопровождавший всякое намерение, мало-мальски гражданский поступок или же просто потуги разума средней силы к началу шестидесятых потихоньку отступили, хотя шанс, что повсеместная боязнь всего и вся вернётся, Моисей Дворкин из виду не выпускал. Однако подобное думанье настигало его нечасто – на всё не хватало времени. Кроме того, чтобы держать в узде брак, надо было всё так же любить Верочку, как это было у него на заре жениховства, когда он, ассистент кафедры сопротивления материалов, ведущий семинары и уже читающий лекции, увидев студенточку, ту самую, с Севера, просто присел на месте и какое-то время молчал, пока аудитория ждала. В ходе же самого семинара ёрзал и совершенно не узнавал себя, вбрасывая в зал не свойственные ему несмешные шутки. Под конец, выдав задания, остался один, чтобы подумать. За окном тогда стоял сентябрь пятьдесят третьего, третий лекционный год для молодого доцента, но, по сути, всё ещё начальный опыт: каждый новый поток – первая пока что проба пера. И сама она поначалу тоже казалось ему такой, под стать новым мечтам, новым песням и не пробованным ещё любовям. Под стать большой новой жизни. С ней, ясное дело, – с той самой девушкой.

Он выглянул в распахнутое окно. Вид из аудитории был на передний институтский двор, что раскинулся перед восемью непьющими гипсовыми шахтёрами-истуканами, украшавшими портик здания ещё со времён Горной академии. Туда-сюда сновал народ – кто жмурился от всё ещё не по-осеннему жаркого солнца, кто, наоборот, подставлял его лучам озабоченные лица, и они тут же делались беззаботными, как это бывает в природе, особенно у тех живых существ, которые ниоткуда не ждут беды. Тем временем горячее колесо докати-

лось до самой верхотуры привычной трассы и весело заглянуло в левый глаз Моисея Дворкина. Правый в эту счастливую секунду был прищурен, он же по обыкновению в миг озарения отвечал и за волнение, и за быстро отыскиваемую мысль. Так было всегда, когда нужно было подумать или же нечто важное придумывалось само. Так вот, про солнце. Оно ведь тоже часть колебаний среды. Верней, испускаемые им лучи несут в себе море информации – от тепловой до интеллектуальной. Ну конечно, так и есть, человек окружён полем, и даже полями, их много, они нескончаемы и связаны между собой. Природа их – биологическая. Но нет, и физическая тоже, потому что всё, чему должно вращаться, создаёт поля. Солнце – в том числе. И прочие планеты. Этими удивительными полями окружено всё, абсолютно всё. И они между собой взаимодействуют, ну конечно! Именно они представляют собой гигантский информационный поток, именно они образуют бескрайнюю систему, в которой скорость распространения сигнала – мгновенна, а понятия времени просто не существует. Он не знал, из какого места пространства сыплются на него в эту минуту эти дивные мысли, про каждую из которых он точно знал – так оно и есть, даже если это и совершенно не так.

«Ну конечно же, конечно, – продолжал лихорадочно размышлять он, – человек не вращается, не скручивается никаким пространством, он же сам является генератором полей разной интенсивности. И мысль его – готовая материя, из которой строится новое поле, и на это поле можно воздействовать. Молитва – вот самый точный эквивалент воздействия на поле человека! Она несёт в себе позитивное начало и потому способна разрушать всё негативное. Бог не бог, а работает, и это всем известно. Слова! Слова есть колебания. Электромагнитные, конечно же, – и они точно так же влияют на молекулы человека. Молекула воспринимает речь и её смысл, и потому вовсе не безразлично, что мы говорим, на что обращаем взор, о чём думаем. Наша кровь содержит атомы железа, и именно по этой причине молекулы крови являются антеннами, миллионами крохотных антенн, обращённых в космос, откуда, скорей всего, и принимают сигналы, информацию о том, как должен выглядеть сам человек, растение, животные, всё остальное. Наше тело – такая же вселенная...»

Внезапно ему стало жарко. Он расстегнул воротник, распустил галстук и отвёл его в сторону. Затем несколько раз интенсивно подул на грудь, остужая поверхность тела. Крупные капли пота образовались где-то сзади, в районе хребта, и устремились к земле. Он попытался перекрыть им путь рукой, остановив движение книзу, но было поздно, липкие капли уже успели окончательно соскользнуть вниз и намочить верх трусов. И теперь там было мокро, но не противно, как можно было ожидать. Такое уже было однажды. На войне, когда его артиллерийский гаубичный полк стоял под Прагой. И когда произошла история, та самая...

И он засмеялся.

Моисей Дворкин смеялся так долго и так оглушительно громко, что звуки его раскатистого смеха, ещё не успев отразиться от потолка и стен аудитории, уже успевали обратиться в многократное гулкое эхо, которое, обвив мягкими волнами пол и потолок, постепенно угасало в своём пути на волю и уже выпадало в окно, унося с собой последние сомнения Моисея Наумовича насчёт бездумной веры его в эти якобы неземные чудеса.

Хотелось поплакать, самую малость, чтобы унять волнение, не свойственное мужчинам, а заодно слегка ослабить жгучие внутренние токи. Потому что студентка та тоже была Вера, как ему удалось выяснить в ходе семинара. Сейчас, подумал он, его запросто можно принять за умалишённого, потому что он понял вдруг, что влюбился. Насмерть. И не гормон был тому виной, а эта прекрасная Вера, именно она, в чистом, незамутнённом виде и без любой уже метафизической приправы. Но вот только какое из двух великих событий случилось в его жизни раньше, открытие это или любовь, Моисей пока не улавливал. Но уже знал, любовь его – навсегда. Открытие же – не сработает, не понадобится ни самому ему, ни остальному человечеству. По крайней мере, при его жизни. Хотя, вполне возможно, кто-

то ещё более талантливый и умный, чем он, уже открыл это задолго до него, и поля эти, вполне вероятно, даже имеют свои названия. И не исключено, что они уже детально описаны и всюду изучаются физическими умниками, с чьими ботинками его галоши и рядом не валялись. Его удел – макроформа: не пыль, собираемая обувью, но свойства каблука и самой ступни – отчего одна сгибается так, а не иначе, и по какой причине другой, соединяясь с паркетной доской, издаёт паскудный скрип Деворы Рубинштейн. Соппротивление материалов – наука весьма точная и с древними традициями, но отчего она не изучает сопротивление материалов, из которых собран сам человек, включая слова его и мысли?

И всё равно последнее соображение никак не отменяло радости независимого открытия. К тому же оно отлично соединялось с совершенно новым для Моисея чувством – восхищением любовью, которая теперь настигла и его. Это уже потом, прожив с Верой Андреевной Грузиновой-Дворкиной около пятнадцати лет, он вдруг, проснувшись в один из погожих сентябрьских дней, удивился скоропалительности принятого им тогда решения. По существу, к моменту своего тогдашнего «влюбления» они даже не успели толком перекинуться и парой неслучайных междометий. Впрочем, как он это понял уже потом, о наличии в русском языке подобных штуквин супруга его имела тоже весьма условное представление.

От родительницы Верочке в первую очередь достались руки. Пальцы не меньше материнских были тонки и точно так же, как и её, отличались от тысяч других идеальной длиной фаланг. Ногти, округлые и прозрачные, не ведали лака, поскольку мать вечно экономила его, и в силу этой вынужденной причины Верке не дозволялось даже изредка заглядывать в одну-единственную на семью дамскую сумочку. Лак, как и остатки прошлых помад в комплекте с ничем всё ещё не заменённой довоенной пудрой «Ландыш», требовались Анастасии Григорьевне для поддержания ликвидности её женских акций. От этого зависела не жизнь, нет: такого подхода требовал ожидаемый успех среди части мужского контингента Воркутинского угольного бассейна, пускай даже и не свободного от супружеских уз. Именно такой расклад случился у юной Насти с её первым ухажёром, по нелепой случайности ставшим Веркиным отцом в очередной заполярной глухомани. Тот был надувала и лгун, уголовный элемент и известный катала, только-только выпущенный на свободу после очередной отсидки в тех же недобрых местах. Он надул ей живот с первого же раза, как только засёк дурную малолетку и обаял. Попутно обрисовал приятное общее будущее и поднёс пудру «Лебяжий пух», первую в её неискущённой жизни. Наутро он исчез, прихватив и пудру, и кошелёк, в котором помещался остаток существования до конца месяца. Сумел также, применив уголовные навыки, определить и тайное место, где у девушки Настасьи заныкана была единственная её драгоценность, детская серебряная чайная ложечка «на первый зубок» – единственное наследство от умершей до срока мамки. Ложечка та покоилась в гардеробе, в стопке белья, убранный в тряпицу. Кроме ложечки ещё остались так и зависшие в памяти рассказы о мёртвом, но законном отце, которого она не видала никогда, – дворянине, князе, бывшем флигель-адъютанте Григории Петровиче Грузинове. Рассказы матери, верней, всё то, что осталось от них в виде образов, лёгких вуалей, случайных фрагментов, едва проглядывавших через мутную завесу лет, были бледными и почти неслышными.

С тех пор она его не видала, как не могла больше заставить себя прикоснуться рукой к этому «Пуху» – вплоть до суровой желудочной колики, – предпочитала ходить как есть или даже умереть, но только чтоб не пудриться проклятым названием, поломавшим ей невинность и всю оставшуюся жизнь без честного для дочери отца.

Оказавшись с дитём в Воркуте, Анастасия переменялась совершенно. Тем более что выбирать снова не приходилось – нужно было и дальше выживать, но так, чтобы всё теперь шло по уму, с попутной выгодой, получаемой от мужской части за пользование женской. Последним у неё, перед тем как отправить дочь в столичное ученье, был директор угольного комбината. Тот натурально охал и подстанывал, когда она в угоду ему, дважды на неделе

прижимаемая к рабочему столу грузным туловищем, елозила по неудобной, слишком гладкой для любви поверхности, ритмично подёргивая тазом и выражая неискренний восторг от очередного счастливо случившегося меж ними совпадения страсти. А ещё, избегая однообразия и чтоб не сделаться надоедливой, Анастасия Григорьевна меняла порой позицию этой страсти – возложив локти на ту же гладкую поверхность и упершись во что-то неподвижное, она стыдливо опускала голову и максимально оттопыривала приятный задок навстречу возбуждённому открывшимися видами угольному начальнику.

Потому не случайно и оказалась Верка в горных студентках. Послали по разрядке, как дочку местной соблазнительницы в законе, углекомбинатовской замглавбухши Анастасии Григорьевны Грузиновой. Директор же и организовал, по направлению, чтобы, считай, без экзаменов, а чисто за честь, совесть и расчётный счёт предприятия, откуда и будет ей отныне регулярная стипендия за материну постельную принадлежность при комбинате. И вообще, когда дело касалось любой жизненной преграды или нужды, Анастасия мало где и в чём могла не уступить. Это уже потом, освоив городскую жизнь на московских метрах, она обрела неведомую ей ранее принципиальность. Враг не пройдёт! И не потому, что тесно и непривольно, – просто раз не было его до того, то и теперь быть не должно: ни Деворы этой Ефимовны, воблы сушёной, ни Ицхака её, такого же сухотелого, – равно как какого-нибудь проклятого фашиста на Курской, к слову сказать, дуге. Или, допустим, под Москвой, в Панфиловском, кажется, поселении городского типа.

С лицом, если снова сравнивать с родительницей, у Верочки всё же имелась некоторая засада, которая заметна была лишь мужчинам, внимательным к чужому несовершенству. Моисей к такому типу не относился. К красоте, конечно же, был равнодушен, но совершенно по-иному, подмечая её лишь там, где напрочь отсутствовала избыточность черт дамской внешности. Скажем, типичные раскрасавицы времён послевоенных, какие тоже порой встречались на пути, уже изначально отторгали молодого учёного броскостью вида и сочностью форм. Мешало мысленное несоответствие между представлениями гаубичного капитана об ужасной женской доле, что, совпав годами, досталась беззащитным существам, и тем, как некоторые из них выглядели в натуре. Яркие и шумливые – те отклонялись сразу, как чуждые естественной природе вещей, и потому оказывались недостойными совместной жизни. Мышки-норушки, преимущественно тусклого цвета, опускавшие глаза, когда не имелось в том нужды, застенчиво бормочущие, невидные, непременно одетые нелепо, будто тело, каким владели, нуждались в сокрытии в несравненно большей степени, нежели доказательство женской сущности, – те также отметались, рассматриваясь как неживые. Со своей будущей женой Моисей Дворкин намеревался разговаривать и дружить, а не только совпадать эстетически или в плане супружеской близости. Заранее не хотелось семейной тоски, даже не мечталось жить так, чтобы, молча нацепив мужнин халат с кистями или, наоборот, вынеся мусор и загасив общую лампочку, ветхий супруг возвращался к уставшей от жизни супруге – вновь молчать, шелестя залежалой газетой, или безмолвно дуть на остывающий чай, не находя один для другого новых слов, не обнаруживая в себе свежих мыслей, какими бы стоило поделиться. В тот год он ещё не открыл для себя «теорию кровяных антенн», но уже чувствовал, что – на пороге, что вот-вот явит нечто новое не только себе, но и миру, пускай даже своему маленькому миру сопромата и теормеха, с которым он на ты, потому что и в нём, оказывается, тоже есть любовь, которая, согласно его же прикидкам, изначально заложена во всё живое и неживое без исключения: в камень, дерево, слово, в думы всякого индивида, в поступки его или даже в одну лишь мысль о них.

Теперь он чувствовал, если уже не знал доподлинно, – нельзя безотчётно молчать, нужно говорить, произносить слова и звуки, необходимо принимать и выпускать из себя космические знаки, символы, коды, нужно позитивно мыслить, склоняя мир к лучшему, пытаюсь выискать красоту и добро повсеместно, тут и там, или если не умеешь найти и оценить

их, то хотя бы не сопротивляться тому, что это делают другие, зная, что так или иначе оно коснётся тебя самого.

Дворкину вспомнились эти первые его молодые размышления уже потом, через несколько лет, когда довелось столкнуться с соседской парой, принудительно вселённой в его законное жильё. Они и были именно теми, каких он придумал, размышляя о человеке вообще, если не ещё ужасней. И то приятно доброе, что ко времени явления незванцев ещё не успело оттянуться к тылам вымышленных рубежей, как-то отпрянуло вдруг само, разом, расчистив Моисею Дворкину пространство для новых фантазий «на тему».

Впрочем, пока что важнее всего другого оставались наука и преподавательская деятельность. Прирождённый педагог, каким в ту пору, однако, лишь начинал становиться, он уже плохо мыслил себя без любимой кафедры, без институтской своей занятости и каждодневных забот учебного процесса. Системный во всём, он и в деле выявления любимой женщины попытался уложить этот деликатный процесс в прокрустово ложе собственного видения действительности, запустив на орбиту поиск, близкий устройству своей рассудочной головы. Там у себя, в узком мирке невеликой науки, где устойчиво господствовал набор методов, облегчающих расчёты механизмов, сооружений и даже летательных аппаратов – назови их хоть прикладной, а хотя бы и классической механикой, – там он знал закономерности. Там он был свой. Здесь же закономерности, собираясь в правило, не обязательно единились. Тут уже имели место ответвления, кои также следовало учесть.

Что же оставалось? Оставалась серёдка, грудинная часть спектра, вмещавшая в себя тот добрый остаток, что, сумев устоять в центре спроса, не сделался размётанным по краям. В нём и обнаружилась пышногрудая, вовремя выплывшая из промозглого шахтёрского неудобья Верочка, которая, не успев толком осмотреться в московской суматохе, неожиданно для себя и попала в поле зрения молодого преподавателя с кафедры сопромата и теормеха. Или на опушку его же слепоты.

На ней в тот сумасбродный для обоих день была вполне удачная кофточка, из тех, что по случайности служат напоказ, – спросовой трикотажной выделки, хотя и не слишком удачного синюшного тона, но зато при таком же модном рукавчике 7/8. Под ней, кроме дамского прибора на трёх пуговичках со стороны спины, не имелось больше ничего. Верх у кофточки был почти совсем глухой, и потому некоторая фривольность конструкции могла быть оправдана. Это же позволяло засечь и линию призывного рельефа выше пояса, ниже которого, начинаясь от довольно-таки недурной талии и завершаясь слегка ниже колен, наблюдалась юбочка – сдержанное плиссе самого обычного, хотя и тонкого материала, – при не слишком широких складках, но и не в худую, как макаронины, гармошку. После этого снова было ничего: просто голые, в белых носочках, довольно стройные ноги. И явно недорогие туфельки на невысоком каблуке с кожаной перемычкой на подъёме стопы. Всё. Если не считать лица.

Лицо – было первое, на что Моисей обратил внимание. Об него, собственно, и споткнулся. Ну и на грудь, чего уж там. Остальной перечень приложился чуть потом, когда он пришёл в себя и неприметно для аудитории по новой перемерял глазами обнаруженную находку.

Одеждой Вера снабжала себя сама. Крутясь по-всякому, выдуривала то тут, то там разные небольшие модности, но так, чтобы не слишком било по карману. Стипендия начислялась исправно – мама продолжала по испытанной схеме отрабатывать дочкино ученье, хотя и не с той интенсивностью, что раньше. Кроме того, отправляла ежемесячный вспомоществовательный добавок – на прожитьё и поиск подходящей женской доли. Переживала. Писала дочери, каждый раз находя место, чтобы попутно шуткануть, выдёргивая словечки из прошлого запаса оборотов и фраз, какие частенько применяла, живя с ней под одной крышей: «А если проблема с мордой лица сделается, то не экономь на помаде, а ежели с фигу-

ром случится, то тогда, доча, с носильными вещами повнимательней». Хорошо, что с самого детства Верочка материнским заветам следовала не до конца. В противном случае была бы, наверно, на ней в тот день какая-нибудь взглядоотталкивающая хламида, оттеняемая румянами на щеках и аномально подведёнными бровями.

Так или иначе, но усреднённый запрос на женскую красоту, который, сам того не зная, исповедовал старший преподаватель Дворкин, принёс наконец свои плоды. И он пропал, Моисей. Сошлось!

Дальше шло по накатанному, по привычной ухажёрской схеме, хотя и в этом, как он полагал, всё у них было тоже не как у других – лучше, чище, романтичней и предельно почестному. К тому моменту Вера была второкурсницей, и лет ей было двадцать с небольшим. И потому в смысле девственности ожидать можно было всякого. Моисей и ожидал всякого, но всё же больше полагался на совесть и провинциальную неискущённость избранницы. Впрочем, она и вела себя так, что сомнений у жениха насчёт беспорочности будущей невесты оставалось всё меньше. Пару раз, пребывая в излишней задумчивости, он, правда, позволял себе поразмышлять на тему, как должен поступить достойный мужчина, обнаружив у наречённой отсутствие девственной плевы. Рассердиться и уйти? Сделать вид, что для зрелых умом людей подобный пустяк решительно не существует, поскольку имеются ведь помимо низменного ещё и высшие смыслы.

«Хотя, – думал он, отгоняя от себя то подступающие, то вновь отдаляющиеся сомнения, – само ведь по себе соитие играет важную роль не только потому, что это прежде всего наслаждение, а ещё из-за того, что сигналы истинной любви в это время источаются много сильнее всего остального, излучаемого человеческим организмом в пространство космоса. Но как быть в случае, когда то же самое происходит без любви? Когда мысль явно не соответствует слову и получившийся раскардаш просто начисто испоганит ноосферу?»

Однако ответа он так и не имел, никакого.

## 2

Был ещё один момент сомнения, к которому временами обращался памятью Моисей Дворкин, но повторения чего всячески себе не желал. Они тогда стояли под Прагой – его гаубичный артиллерийский полк, где он, гвардейский капитан, командовал батальоном. Было временное затишье перед очередным наступлением, и тогда он, будучи в курсе дальнейших планов командования, дал своим бойцам-артиллеристам короткую вольницу – до следующего утра. Можно чуток размять члены и принять кружку-другую местной браги, какую его хлопцы обнаружили неподалёку в селе, в бочках. Сначала они отыскивали подвал, куда по тихой забралась без ведома хозяев. Брага оказалась чистейшим пивным суслем, как надо охмелённым, в лучшем варианте крепчайшего благородного зелья. Там же его и сдегустировали, до коллик в голове. Когда, заслышав посторонние шумы в подвале собственного дома, объявились испуганные хозяева-супруги, все трое бойцов были уже немерено хороши, веселы и расположены к общению. На хозяина наставили ПППШ, и тот, охнув, присел на пол. Боец привёл его в чувство и увлёк в дом, успев по пути подмигнуть двум другим. Те намёк поняли и, не теряя времени, скоренько поимели хозяйку, в очередь, на всякий случай зажав той рот. Она, в общем, и не сопротивлялась, понимая, что убьют и не заметят, особенно после охмеления суслем семейной выделки. Успела лишь выхрипеть пару раз, призывая мужа:

– Ир-ржи! Ир-ржи!

После этого её вежливо сопроводили в дом, к Иржи, намереваясь заодно пожить чужаком-нибудя чисто заграничным. Там, в доме, и обнаружилась она, хозяйская дочка, пришибленная страхом бело-розовокожая девушка лет девятнадцати с небесного колера глазами. Её они и увели с собой, пригрозив супругам всё тем же ПППШ и прихватив из подвала пятилитровую бутылку пивного сусли. Решили, будет командиру ихнему Моисейке презент, за всё, что видели от него хорошего, – не вредничал, не малодушничал и отродясь не крысятничал. И что храбрость неизменно проявлял на поле брани, как исконный русак, бесстрашный богатырь.

Один из боевой тройки остался неподалёку от расположения части, в редком лесочке, под раскидистым кустом. Сам пивную дочку не трогал, но на пальцах и словами по-кривому объяснил, что если не даст ихнему командиру, то будет ей секир башка – и со значением потёр ребром ладони поперёк шеи: сначала – своей, потом – её. Та сообразила, догадавшись, что это не смерть, а всего лишь позор, и согласно закивала. Двое остальных в это время искали Моисея, и когда нашли, то угостили из бутылки, раз, и другой, и ещё на добавок, а после сообщили:

– Товарищ капитан, там вас девушка одна дожидается, из местных, неподалёку. Шавырин с ней пока, чтоб не заблудилась.

– Какая девушка? – не понял Дворкин. – Зачем девушка?

Оба замялись, но довели-таки ситуацию до командирского понимания, чтобы окончательно постиг.

– Она... того, – пояснили, – отблагодарить желает, сама сказала, никто за язык не тянул. За то, что фрицев отогнали от ихней земли, что войне скорый конец, и всю жизнь, говорит, мечтала познакомиться с русским командиром. В смысле, близко, совсем, по-женски. И Иржи этот, кажись, не против.

– Какой ещё Иржи? – не понял Дворкин.

– Да батя ейный, пивовар. Сам же и налил нам на дорожку, только-только сваренного.

– Они что же, даже сейчас пиво варят? – удивился гвардии капитан и недоверчиво уставился на двоицу из боевого расчёта. – Во время наступательной операции?

– А им, как говорится, по хер, Моисей Наумыч, – отмахнулся первый боец, не седой, и хохотнул невпопад. – Им бы, чехам этим сраным, только пиво б своё сосать да песни горланить.

– Так они что, ещё и пели вам? – Он уже сбился с толку, не в состоянии ухватить главную мысль. И потому решил выяснить диспозицию окончательно. И поинтересовался: – Ну так и что дальше? Дальше-то чего?

Оба нетрезво закивали, пытаясь донести мысль до конца.

– А дальше просто пойдёте вы к ней, товарищ капитан, потому как она уже готова и ждёт от вас любви. Там вон, – один кивнул в сторону, – у лесочка. А мы проводим. А после – её саму, до самого дома, чтоб всё по уму.

Предложение его бойцов, подкреплённое самым искренним, как он понял, вожделем чешской поселянки, оказалось настолько неожиданным, что Моисей утвердительно кивнул, дивясь своему же быстрому согласию. Разумеется, был он далеко не девственник, на фронте всякое случалось, да и в мирной жизни успел отметиться не раз и не два, пока в Горном обучался, хоть и отличался повышенной культурностью с самого учебного начала.

Они и повели его, пока не закончилось действие хмельного сула. Не дойдя полсотни шагов, указали на кусток. Тому, кто охранял девушку, сделали знак рукой. Тот понял и, строго погрозив ей, безвольной и перепуганной, двинулся навстречу прибывшим. Пересекшись с капитаном, добавил на словах:

– Она аж горит прям вся, товарищ капитан, жаждет вашей встречи и любви. Вы, если чего, сразу к делу, она только этого и ждёт, сама сказала. За всё, говорит, хорошее, что спасли нас от поработателя.

Этого хватило, теперь он был готов. Она оказалась хорошенькой, но выглядела довольно испуганной. Робко сидела на первой весенней траве, поджав под себя ноги и подоткнув подол юбки слева и справа от бёдер. Было хорошо видно, как её полная грудь, хотя и прикрытая руками, поднимается и опускается в унисон с порывистым дыханием.

«Страстная, наверно, – подумал Моисей, – иначе на кой хрен позвала бы чужого мужика, к тому же не видя кого. А вообще, славная самочка, нечего сказать. И решительная такая, надо же, хоть на вид и молодая совсем...»

Смирный девицын облик, вздрагивающие ноздри, колыхание груди явно не от движений, которых не совершала, а скорей от острого сердцебиения, – резко добавило желания. Он присел, положил ей руку на колено и негромко произнёс:

– Я Моисей. Если коротко – Мойша. А тебя как звать, красавица?

Она не ответила, лишь осторожно глянула на него влажными глазами и вжала голову в плечи. Он ждал – то ли ответит, то ли спросить по новой. Однако не понадобилось. Внезапно она высвободила из-под себя юбку и медленным движением потянула её к плечам. Юбка оказалась связанной с верхом, и потому всё снялось разом. Дальше обнаружилось нечто вроде шелковистой рубашки по типу ночной, под которой оставались лишь длинные панталоны с оборками по краям. Сначала она стыдливо стянула их и, аккуратно сложив, пристроила рядом с собой, под руку. Затем, коротко взглянув на капитана, задрала сорочку к груди, открыв девичий низ. И легла на спину, сжав губы. Моисей смотрел на открывшийся вид и не верил дармовому подарку, который сам же его и нашёл в этой оставленной богом местности. Спереди находился фронт. Позади был тыл. Прямо перед ним – лежала молоденька чешка, разрешившая себе отблагодарить воина за то, что все эти четыре страшных года его самоходная гаубица молотила по фашисту из орудий обоих калибров – бронебойными, осколочно-фугасными и дымовыми снарядами. За то, что позади оставалась смерть, но впереди ждала их победа, жизнь, одна на всех, что для русских, что для чехов.

Он придвинулся ближе к ней и потянул сорочку наверх, чтобы открылись груди. Они и выявились: сочные, едва подрагивающие под его взглядом, нежно-молочного цвета,

с тёмными блюдцами вокруг набухших розовых сосков. Ноги её всё ещё были сжаты, и тогда он, опасаясь спугнуть счастливый миг, положил руку ей на промежность, запушённую мелким светлым волосом. Девушка дёрнулась, но положения тела не изменила. Он нагнулся к ней и по очереди поцеловал обе груди: сначала – соски, предварительно подержав каждый во рту, потом – саму грудь, ощутив губами упругость юного тела. Она, однако, никак на мягкую ласку его не реагировала, продолжая, прикрыв глаза и мелко вздрагивая телом, недвижимо лежать на спине. Впрочем, теперь это уже не имело значения, Моисей был настолько возбуждён, что подобная малость в условиях близкой линии фронта уже никак не могла его остановить. Да и незачем было, раз уж всё так сложилось само, не по его командирской воле. В три коротких движения он оголился совершенно, забыв разве что освободить себя от наручных часов, и лёг на чешку, одновременно руками раздвинув ей ноги. Она поддалась его движению, но при этом глаз не разомкнула. Просто лежала и ждала своей участи. И тогда Моисей, решив, что больше не в силах сдерживать подкатившее к самой глотке желание, одним резким толчком вошёл в неё и, раздираемый в ключья чудовищной страстью, забился внутри её тела, едва не теряя сознания. В первый момент он, кажется, даже не слышал, как ужасно она закричала, эта чешка, сама же призывавшая его к себе. В это время он уже бился в ней молодым, яростным, почти уже влюбленным зверем, говоря что-то, чего сам не успевал осознавать, вышёптывая эти ласковые благодарные слова. И била горячим гейзером его огненная кровь, и натягивалась до надрыва его упрямая стальная жила, и никто и ничто не могло сравниться в этот миг с его коротким случайным счастьем на той смертельной войне. Он не знал, не понимал, сколько раз за это время тело его успело пройти точек наивысшего наслаждения, – всё смешалось, перепуталось, сбилось в сокрушительном взрыве разума и плоти.

Когда же он, опустошённый, после короткой паузы разорвал-таки объятья, то обнаружил то, чего никак увидеть не ожидал. Её било судорогой, низ её тела был в крови. Кроме этого, кровь её была повсюду: на её руках, на животе, на примятой вокруг траве, на нём самом. Он замер. Страсть медленно отступала, её сменил немой вопрос, обращённый к девушке. Та медленно поднялась, вытерла руки о траву, подобрала одежду, сжав её комком у груди, и отступила на два шага назад. Моисей ждал, плохо понимая реакцию чешки на происходящее. Правда, успел подумать, что, скорее всего, там была целка, которую он только что разорвал. Больше он ничего не понимал, в голове лютовала пурга, всё разъезжалось, обращаясь в труху и пыль.

Она, всё ещё опасно глядя на оголённого капитана, опять немного отступила. И, одолев страх, негромко вдруг произнесла, глядя ему в глаза:

– Crud!

– Чего? – переспросил Моисей, ища глазами отброшенные в сторону портки. – Чего ты сказала, я не понимаю.

Девушка, набросив платье, медленно отдалялась от места надругательства. Обернувшись, крикнула, уже, видно, не опасаясь за свою жизнь:

– Vás všechny – zvěř, ruský, slyšíš? My jsme tě pozvat tady! Němci jsou lepší než vy, lépe! Vy jste fašisté, ne oni!<sup>1</sup>

Слова он услышал, но смысл не разобрал. Да и одеться б не мешало.

«Чёрт её, дуру, знает, чего ей надо. Сама позвала, сама дала и сама же недовольна теперь. Может, ненормальная какая?».

<sup>1</sup> Мрази! Все вы звери, русские, слышишь? Мы вас сюда не звали, немцы лучше вас, лучше! Это вы фашисты, а не они! (чеш.)

Он вернулся в расположение части. Трое ждали его, в очередной раз полирнув внутренность пивным сусликом. Поднесли и ему. Он сделал три больших глотка, утер губы, сел на бревно.

– Ну чего, товарищ капитан, – обратился тот, что постарше, совсем зрелый и, считай, без малого остатка весь седой, – как прошло, уступила наша курочка или закочевряжилась? Может, проводить надо было или ж пошла она сама?

– Пошла, – отмахнулся капитан Дворкин, – пошла к чертям собачьим! Странная какая-то. Слова непонятные говорит, но ясно, что обидные. К тому же ещё и целка. Нет, ну вот вы скажите мне, мужики, разве нормально, чтобы напроситься к чужому офицеру, типа в благодарность, отдать единственный целяк, а потом ему же козью морду построить? И при этом даже как звать не сказать, а?

Трое прыснули и смеялись капитанским словам долго, смачно и по-доброму, как свои со своим. Они и были свои, пройдя за годы войны многое и повидав всякое. Да, к слову сказать, и спас его однажды седой, когда по самоходке миной шарахнуло. Само орудие – ничего, устояло. А прицел сбило напрочь. И Моисея взрывом тем чувствительно контузило, чуть там же концы и не отдал. Так он его, бросив войну, в полевой госпиталь поволок. И вовремя успел. Нет – была бы непонятка по здоровью: так ему после полковая докторица сообщила.

Отсмеявшись, налили ещё – благо дело, хоть близко ко дну, а оставалось.

– Добро, капитан, – махнув залпом, покачал головой седой боец, – значит, получается, что сами вы эту курочку чпокнули рябочку, а мы – мамашу ейную, гусыню. Так что счёт у нас один на один получается, всё честно.

– Это почему ещё один на один? – подал голос другой боец. – Мы ж с тобой мать-гусынюку ту вдвоём приходовали, а куропаточке её один только капитан наш достался. – Он так же, как и раньше, по-доброму хохотнул. – Стало быть, два на один получается. А не один на один.

– В смысле? – не понял Моисей, полагая, что не уловил в словах бойцов сути шутки. – Кто чпокнул, кого чпокнул, какую гусыню?

– Так мамку её, красавицы вашей, – вставил слово третий, нетерпеливо ожидающей очереди на собственную часть сводки происшествий. – Там же, в подвале, где у них пиво это заквашивается и всё остальное суслик. Крепкое, сука, – довольно покачал он головой, – забирает аж до самого батьки в штанах. Принял пару посудин, и батянька твой враз просыпается – тут же жрать ему подавай, понимаешь.

– Стоп! – Моисей Дворкин встал и снова сел на бревно. – То есть хотите сказать, что вы, – он указал глазами на двоих, – ты и ты, мать этой самой чешки, которая приходила ко мне на свидание, изнасиловали? Я правильно вас понял, бойцы? Или же вы тут в игры со мной идиотские поиграть решили?

Трое слегка изменились в лице, сообразив, что, опившись чёртовым сусликом, ненароком допустили лишку, переступив черту откровенности. Двое синхронно поднялись и поправили внешний вид, одёрнув гимнастёрки. Назревала беда, но, если что, седой уже примерно знал, как от неё уйти.

– Так, докладывайте по порядку, – распорядился капитан Дворкин, переменяя голос с гражданского на командный, – как и чего было. Ты! – ткнул он пальцем в седого, спасителя собственной жизни.

– Так ничего такого и не было, товарищ капитан, – вздрогнув от неожиданности, начал тот, – просто зашли, спросили водицы испить, а хозяйка нас вниз спустила, сказала, там у неё всё имеется. И ещё хитровато так заулыбалась. Ну мы чего, мы – за ней. Она и бутылку нам с собой собрала, и там ещё налила, внизу, своего же, хозяйского.

– И?.. – строго спросил Моисей. – Дальше что? Говори как на духу, рядовой.

– Дальше? – уже без особого смущения в голосе отозвался седой. – Дальше снова налила. А потом ещё. И сама выпивала, каждый раз, пока наливала. – Он повертел головой, ища поддержки у сотоварищей. – Так или не так, хлопцы?

Те энергично закивали: так, мол, всё так и было, как повествуешь.

– Ну а после? – не успокаивался Моисей. – После-то чего?

Он уже почти наверняка знал, чуял затылком, что – насильовали. И хорошо ещё, если не поиздевались, нетрезвыми-то. Внезапно он ощутил, как на спине у него собрался липкий пот и густые капли его устремились вниз по хребту. Он сунул руку за ремень, но было поздно – там уже основательно намокло. И ему сделалось тошно.

– Ну а по-о-осле... – уже совсем внутренне успокоившись, протянул седой, – после она вдруг как задерёт подол у себя, сама же опять, без никого, никто её об том не просил. И в стенку уперлась. И руками показывает, и на словах ещё добавляет, пшикает по-нерусски, что, мол, давайте, солдатики, давайте, я разрешаю. И порты спускает до пола. И ждёт.

Капитан молчал, ожидая продолжения неприятной новости, хотя сама по себе она была и так понятной и уже не хотелось слушать в деталях.

– Ну а мы что, железные, товарищ капитан? – вмешался второй насильник. – Тем более когда сами ж и просят. И видно, что сама-то давно без мужика, без Иржи этого, наверно. Ну и мы... помогли ей вроде как, согласились на призыв. А больше ничего, она нам ещё налила потом, после такого дела.

– Ну а ты? – обратился Дворкин к третьему. – Ты почему не помог?

У того забегали глаза – явно собирался врать. И соврал:

– Да я уж так набрался, товарищ капитан, что сам не захотел. И потом, ей уж от двоих хватило, наверно. Чего мне зазря-то лезть?

На этом месте нехорошая история явно разваливалась. И солдаты, вся боевая тройка, понимали, что капитан не верит. Но рассчитывали, что обойдётся, в силу тоже понятных причин.

– Ладно, раз так, – не угоманивался Моисей, – а откуда молодая взялась, целка эта? Тоже из подвала?

– Не, – помотал головой третий, самый невинный, – молодая после сама пришла, уже наверху, с дома вышла – и к матери. Та ей чего-то такое по-ихнему разобъяснила, так эта и говорит, что, мол, пошли к вам в часть, ребятушки, хочу, говорит, вашему геройскому командиру благодарность вынести за предстоящее взятие Праги. И улыбается сама, с мамкой переглядывается. Ну чего тут непонятного-то? Дело ясное – тоже загорелась, как и мать. А та, видно, не против. Обе они, если уж на то пошло, товарищ капитан, шалавы обыкновенные. Там на обоих пробы ставить негде, что на матери, что на курочке этой, дочке её, хоть даже и целка.

– А как же вы поняли про взятие Праги, про остальное всё, раз они по-русски ни бумбум? – удивлённо спросил Моисей, уже окончательно уверенный в том, что сообщённое его бойцами – чистейшая ложь от начала до конца.

Боец замолчал, уставившись в землю. И слегка покраснел.

– Ну она больше руками, не словами, – попробовал исправить ситуацию седой, – улыбочкой своей, что мол, пошли, солдатики, не промахнётесь.

– А про геройского командира как поняли? – не унимался капитан. – Как это она руками да улыбочкой могла объяснить?

– Про вас, товарищ капитан, если уж начистоту, то соврали, – потупился второй боец. – Она поначалу хотела с нами отойти, как мать её, а мы уж только после сами решили, что вас позовём, как командира, чтобы тоже обломилось. В смысле, досталось, ну... по мужской части.

– Ну а зачем было куда-то идти, раз вот он, дом её, и вот подвал этот? – добивал их капитан, слово за словом выводя на чистую воду. – Для чего ей, целке, топать с вами в часть? Чтобы чего? И вам, мудозвонам, для чего давать, – чтоб потом позор иметь на весь остаток жизни?

Трое молчали, на этот раз крыть было нечем. Все всё понимали, но над головой висел устав, там же гильотиной реяла присяга. Имелась ещё и воинская честь, но только если перевернуть историю наоборот, выискав истину, от неё бы ничего не осталось. Да и загреметь под трибунал за неделю до конца войны тоже не улыбалось.

Это были первые майские дни, гораздо более тёплые в этих краях, чем бывали на Каляевке в такое же время года. Трава у них во дворе всходила поздно. Снег, собранный в кучи, размещённые под старым навесом, дававшим неизменную тень, таял долго, и почва под ним, по-хорошему освобождаемая теплом не раньше середины мая, прогревалась лишь к этому сроку. Тогда и начиналась для Моисея поздняя весна, почти сразу переходящая в лето. Здесь же, на этой чужой ему земле, лето наступало явно раньше привычного срока. Май только начинался, а всё вокруг было уже ярко-зелено и пышно, будто некий волшебник душевно прошёл по здешней округе, мимоходом зелена местность и щедро выдувая на неё тёплый грудной воздух.

Да, не хотелось под трибунал. А его, если б таковой случился, не избежал бы и сам он, гвардейский капитан Дворкин. Моисей отлично это понимал, но только не был уверен, что это же самое дотукали и трое его уродов-бойцов даже после того, как совершили самое настоящее преступление, к тому же в ходе боевых военных действий. Он подумал и выдал:

– Ладно, было – не было, гадать не станем. Сейчас возьму «виллис», докатим до подвала вашего. Лично поинтересуюсь у хозяйки и у дочки её, как всё было. Дорогу не забыли, надеюсь? – И посмотрел каждому в глаза.

– Не надо, товарищ капитан, – отозвался седой, решив ответить за всех, – не надо никуда ехать. – И упёр глаза навстречу капитановым. – Потому что если после разбираться станут, то никак не получится, чтоб про вас проверяльщику не доложить, если уж на то пошло. А та, молодая, скажет, что насиловали вы самолично, и целяк поломанный предъявит как вещдок. Тогда уж точно никому нам не выбраться: мы-то паровозиком пойдём, если что, а уж вы на полную загремите, товарищ капитан, извините, конечно. – Сказал и перевёл взгляд на двух других. Те послушно молчали, соглашаясь со словами умного седого.

– Ну так... – Моисей поднялся с бревна, отряхнулся, строгим голосом распорядился: – Сейчас вы следуете в расположение взвода, а я вернусь и решу, что с вами дальше делать. – И посмотрел на троих так, как с тоской в глазах жадный до крови охотник провожает ускользающую добычу. – Нале-у! Ша-ом арш!

Пока трое удалялись, чеканя шаг, капитан Дворкин, глядя вслед боевым товарищам, думал о том, что делать он, само собой, ничего не станет. Проглотит и переварит. И не потому, что они ему откровенно пригрозили, и не из-за того, что служить им осталось всего ничего и командирская месть их уже ни по какому не достанет. А по той причине, что уже пора было учиться прощать, даже если родившаяся боль ещё долго будет разъедать потом рану, которую, возможно, нельзя было предотвратить. О женщинах тех, матери и дочке, он думал с отчаянием, понимая, что именно совершили его люди и сотворил он сам. Однако что-либо поделать, исправить как-то ужасную ситуацию было поздно, потому что ломать геройскую судьбу был не резон. Да и дочке целяк не вернёшь, и материнской травмы никак не поправишь. И перед Иржи не повинишься. Одно слово – война!

На другой день он поинтересовался у младшего лейтенанта, полкового переводчика, – спросил, что означает по-местному «crud». Это слово молодка произнесла первым, ещё не успев удалиться на достаточное расстояние, потому и запомнилось.

– «Мразь» это, – пояснил переводчик. – А вам зачем, товарищ капитан?

«Затем, чтобы не забыть, – подумал он, не ответив лейтёхе, – чтобы помнить всю жизнь... как и то, что однажды я был гадом и мразью...»

Через неделю, добив остатки немецкой обороны, советские войска вошли в Злату Прагу. Однако долго ещё гвардии капитан Моисей Дворкин вспоминал обнажённую девушку без имени, которую его же бойцы, но не по его приказу доставили к нему на быструю случку. Иногда в ходе таких воспоминаний кожа его покрывалась мурашками, колени начинали мелко подрагивать, внутри же, где помещалась чувственная серёдка, возникало неуёмное желание, которое он так и не научился подавлять. И это было сильнее того, как неумело сопротивлялся он этой мысленной картинке, хотя со временем неудобное чувство иссыхало, всё более и более редко напоминая о себе. Но оставалось вожделение, жажда страсти, подобная той, которую испытал он тогда, в мае 45-го, обнажённый, лёжа на молодой траве рядом с полногрудой девственницей-чешкой, назвавшей его мразью.

Верочка Грузинова, не грех упомянуть и о том, немало выделялась в среде сокурсниц приятными глазу женскими признаками. В основном объёмом груди – притом что и талию имела не хуже прочих. К тому же, как в скором времени выяснилось, – ещё и княжна. Это когда они уже стали встречаться и дело бойко пошло к исчерпывающей взаимности. Про своё кровное дворянство по женской линии она сообщила ему вскользь, как бы ненароком выведя Моисея на разговор о фамилиях. Тому, что ухажёр её чистопородный еврей, удивилась совершенно искренне, потому как нисколько не ожидала от чисто русского в основе своей корня в паре с тем или иным суффиксом возможности образовать фамилию с таким хитрющим подлогом. Однако лёгкий затык на этом месте был скорее от неожиданности, нежели касался момента истины. По большому счёту, Верочке было всё равно, в конце концов, все, кто желает ей добра, – люди, и все они рассматриваются на равных, если имеют к тому нормальный потенциал. Моисей – имел, и ощутимо больше остальных. Жильё, в которое он привёл её в первый раз, поразило размахом помещений и улётностью потолка. Ну и, само собой, местом расположения вблизи самого что ни на есть центра города. К тому же неподалёку улицы самого Антона Чехова и такого же звонкого именем Максима Горького – тоже мало не покажется. Ну а сообщению про дворянство он, кажется, вообще не удивился – пропустил мимо ушей, как посторонний звук. Разве что отметил некоторую странность её, Верочкиной, семейной истории – приподнял густую бровочку, имея в виду, что никогда не слышал, чтобы при царе ссылали на мурманские земли. Их и осваивать вроде бы стали только где-то после Октябрьской революции. Она ещё подумала тогда, что не доверяет, сомневается в происхождении крови. Хотя, зная свою деятельную мать, даже больше поверила сначала умному Моисею, поскольку мама в этом смысле была лицом заинтересованным – нет-нет да и упомянет в разных пересудах про их фамильную особость, намекая на их с Веркой отдельность от других. Моисей же – при его нации – нисколько: исключительно строгий, научный анализ – точно так же, как и насчёт всего по жизни остального. Правда, через пару дней, не откладывая в долгий ящик, Дворкин выяснил, что, действительно, первые каторжные поселения появились там в 1915 году, и эта приятная новость согрела Верке душу обратным хватом, заодно сняв часть сомнений относительно материной неискренности.

В общем, женихались славно, по-настоящему: с цветочками, каких ей не дарили от самого рождения, с пирожными, где самая верхняя шапка из надутых воздухом сладких сливок таяла, давясь о нёбо, и самотёком съезжала в горло. С рукой в руке, какие не расцеплялись, бывало, часами, пока они ходили по Парку культуры, проход в который имелся и с заднего двора родного Горного института.

С ним ей было удобно: любиться, гуляться, целоваться, кормить крошками голубочков в Нескучном саду. Он был нежный и умный – про последнее понимала особенно, глядя, как он порой думал о чем-то, напряжинив лоб, и как толково вёл занятия по этой

своей бестолковой дисциплине. Ни разу ни по бумажке, ни по пособию, ни по чему ещё – всё из головы. К концу лекции насыпал столько формул, что делалось страшно даже не за себя – за него самого: как только не лопнет такая голова от стольких знаний обо всём на свете.

Моисей и правда не ограничивался сухим изложением предмета. Вечно увязывал одно с другим, всякий раз неожиданным образом выявляя взаимодействия сил и объектов, на которые эти силы воздействуют. Нескончаемо сыпал примерами из истории науки, по своей, конечно, части, но часто брал и шире, забираясь в чужие научные дебри, не только по ближайшему соседству. Обращался к студентам, увлекая аудиторию уже в самом начале лекции. К примеру, так: «Не думайте, друзья мои, о коленвалах и балках, в них предмет определённо теряет свою изначальную привлекательность. Но смотрите, простая вещь: ведь не только в них возникают напряжения сдвига и деформации, они имеют свойства проявляться практически во всех предметах, с которыми нам с вами приходится иметь дело, и порой мы же имеем самые непредсказуемые последствия. Именно из-за них дают течь суда, шатаются столы, вытягивается одежда в самых неожиданных местах. Если бы не напряжения сдвига, жить было бы куда легче, и не только нам с вами, инженерам, но и биологам, хирургам, плотникам-любителям и даже тем, кто выпускает болтающиеся чехлы для мебели. Или взять, скажем, изготовление парусов... – Он призывно улыбался, всё больше вовлекая слушателей в исторические парадоксы любимого предмета. – Смотрите, в тысяча девятьсот двадцать втором году француженка мадемуазель Вионе изобрела „диагональный крой“. Вряд ли она слышала о Пуассоне и его коэффициенте, но она же интуитивно и поняла, что добиться нужного облегания можно не только с помощью шнурков, крючков и кнопок. В материале платья действуют вертикальные растягивающие напряжения, связанные с весом самой ткани, с движениями его владельца. И если ткань расположить так, чтобы её нити составляли угол в сорок пять градусов, то можно использовать большое поперечное сокращение и добиться эффектного облегания фигуры. – Он ловил одобрителный гул аудитории и продолжал удивлять второкурсников разными всякостями. – Или, к примеру, пошив парусов. Там ведь всегда приоритет был у американцев. Они использовали туго сотканную парусину из хлопка и так располагали швы, чтобы направление нитей соответствовало направлению возникающих напряжений. И потому их корабли плавали быстрее и круче к ветру, чем британские. Потребовалась, однако, основательная встряска, прежде чем эти простейшие факты дошли до сознания английских мастеров. А ведь это произошло благодаря шуму вокруг яхты „Америка“, которая в тысяча восемьсот пятьдесят первом году пришла из Нью-Йорка для участия в гонках с быстроходнейшими английскими яхтами. Когда королеве Виктории доложили, что первой пересекла финишную черту „Америка“, она спросила, где наша, мол. „Нашей пока не видно, ваше величество“, – ответили ей. В итоге англичане пересмотрели технологию и подтянулись настолько, что через несколько лет американские яхтсмены уже и сами покупали у них паруса...»

Никто не знал, откуда этот ранний доцент кафедры сопромата и теормеха черпает свои нескончаемые знания. Впрочем, было неважно, потому что он же умел так увлечь и развлечь, что, бывало, ему даже аплодировали. Верочка Грузинова бойко хлопала вместе со всеми, даже когда не совсем улавливала смыслы дворкинских пассажей про то и это. Зато в такие славные минуты она легко могла зардеться пунцовым пламенем от гордости за причастность к лектору, за то, что только ещё вчера она целовалась с ним в Нескучном саду, прижимаясь к своему избраннику грудями, призывно плюща их об его мускулистую грудь и ошущая низом живота, как мощно пульсирует в нём неукротимая мужская сила. А ещё знала, что на груди у него, судя по военной фотографии, щёлкнутой в День Победы, размещался медальный иконостас. Плюс – обильно ордена, по другую сторону от места, где бьётся доброе, щедрое сердце.

Невинность Верочка потеряла года за три до знакомства с московским женихом. В то время она ненадолго сошлась с одним приятным местным пацаном, оказавшимся сыном директора одного из тамошних угольных комбинатов. Он был младше на год, но, узнав, кто у него отец, Вера ему уступила сразу, не стала ломаться да набивать пустую цену. Паренёк и сам не успел толком сообразить, влюбился или же совершил с девушкой такое чисто по зову мужских глубин. А пока он разбирался в себе, Анастасия Григорьевна, отшпионив первую дочкину отдачу и выяснив, кто отец у пацана, не преминула воспользоваться ситуацией. Явилась к директору, приодевшись по обыкновению броско и призывно, а вышла из кабинета уже комбинатовской замглавбухшей.

Через месяц-другой любовь у малых пригасла и, считай, развалилась окончательно, зато у взрослых страсть, наоборот, только-только начинала разгораться. Была она, само собой, односторонней, хоть директор о том не ведал. Анастасии Григорьевне это, впрочем, никак не мешало, акции её росли вместе с заметным упрочением благосостояния. А вскоре и дочка, ставшая условием необъявленной сделки, оказалась в столичном ученье. И теперь она, второкурсница, готовясь в первый раз отдаться будущему мужу, прикидывала возможные шансы, – чёрт их знает, какие там у них порядки, у этой так непросто устроенной нации. Каких берут, а каким – от ворот поворот? И раз мать у него мёртвая, как сам сказал, то имеет ли слово отец?

Она, конечно, побаивалась выявления необратимой ущербности своей по части нетроутости, но всё же рассчитывала, что пронесёт, что не сделают ей козью морду и не надуют недовольную губу навстречу чистому чувству. Кстати сказать, парочку общежитских связей, по существу никаких, одну – с третьего этажа, другую – с конца коридора, Верка оборвала в один миг, как только постигла, что у преподавателя к ней серьёзно. Так что оба местных дружочка даже не поняли, отчего их безвинно бортанули и теперь она ведёт себя так, будто с каждым из них едва знакома.

То был первый совет Анастасии Григорьевны, которой Верочка сразу же сообщила, что встречается с молодым институтским лектором: немедля порвать всякий компромат, избавиться от любого подозрительного хвоста. И глаза держать строго в пол – упереть и держать, такое обязательно говорит о скромности и невинности, а они это любят, интеллигенция. И главное, чего у него там с жильём, с жилыми метрами – свои или коммунальные?

Наверно, именно поэтому, получив от дочки подтверждение, что – свои, княгиня Грузинова впоследствии была так раздосадована и озлоблена подселением в их каляевский рай этих тухлых захребетников-стариканов, Деворы Ефимовны и её гнutoго Ицхака. К тому же ещё им отписали лучшую комнату, Лёкину, с почти что панорамным эркером, с видом на палисадничек с «золотыми шарами» и на опрятный навес, скрывавший зимой и по весне неаккуратные, чернеющие на глазах сугробы.

Готовясь к первым близким отношениям с Верочкой, Моисей тоже с трудом находил себе место. Не то чтобы вид женской крови был ему так уж неприятен, совсем нет, – просто он не хотел её видеть вообще, в принципе, после той нелюбезной драмы, случившейся в мае сорок пятого. Сама история, если уж на то пошло, практически стёрлась, размылась временем, ушла в сухой песок. И не чувство, испытанное им тогда, не стыд и не позор, но сама картинка, их сопровождавшая, именно она и задержалась. И не в памяти, нет – скорее в глазах, в ощущениях, в мысленных зарисовках. Иными словами, если отбросить пустое и всякую остальную чепуху, он просто избегал вида крови – точно так же, как и опасался не обнаружить её в известные минуты. На каждый из этих страхов имелся резон. Второй из них сейчас был важней, и об этом он думал не раз. С Верочкиной невинностью, если откровенно, столкнуться Моисей всё же ожидал, хотя отсутствие таковой само по себе не стало бы препятствием, просто принудило бы в течение какого-то времени дело это пережить. Пока бы перебалывал, в мыслях, наверно, представлял себе, как не он, а кто-то дру-

гой, более везучий, чем он сам, в сладчайшей нервической трясучке делал с его избранницей «это» в самый первый раз. А вполне возможно, что ещё и потом, и не один раз. Но она, его Верочка, так робко смотрела вниз, не решаясь поднять глаза, когда речь невольно заходила о том, не пора ли им остаться наедине, чтобы не было вокруг более ни одной посторонней души и чтобы это уединение, о котором они мечтают, оказалось самым счастливым для обоих. В такую минуту внутренность Моисея Дворкина размякала и резко оттаивала, и душа его согревалась надеждой на эту долгую Верочкину верность только ему, на чистоту и непорочность юности её, отбитой за студёным полярным кругом, в итоге же – на благодатность собственного выбора.

Он мучился, но придумал. Понял, как сделать так, чтобы остаться в неведении насчёт её девического параграфа. Хотя и счёл такую придумку следствием лёгкого помрачения собственного рассудка. Когда она пришла наконец на Каляевку, то доподлинно знала уже, что всё произойдёт между ними именно в этот день. Правда, окончательной стратегии поведения для себя не выработала. Так или иначе, отсутствие главного признака беспорочности её тела по-любому откроется, но всё будет зависеть от того, какие слова подберёт она в свое оправдание. Материно предложение, которое умудрённая житейским опытом княгиня подробно изложила в письме к дочери, в общем и целом годилось, но всё равно не хотелось и его. Что-то мешало Верочке начинать совместную жизнь с обыкновенной лжи, даже в случае, если она, согласившись на замужество, ещё сама не поняла, любит ли она Моисея так, как нужно любить единственного в жизни мужчину, или просто уважает и ценит его, как все институтские. Мама же предлагала не оправдываться и не путаться в показаниях, нагоняя на лицо никому не нужную краску, а заранее изложить скорбную версию бессознательного грехопадения по молодости, имевшего место сразу после выпускных экзаменов, по первой глупой, но безумной влюблённости в одноклассника, с которым они собирались соединиться судьбами. Мальчик погиб, провалившись под лёд, и эта смерть разрушила их планы. После чего у неё не было никого и никогда.

В этой богато сочинённой версии многое собиралось в точку пригодной для всех правды: север, лёд, юность, одноклассник. Не хватало разве что ослепления полярным сиянием в момент смерти пацана. Короче – драма, которая устроит всех. Она же, княгиня, прибудет в столицу чуть позже и при случае, ненароком подтвердит грустную историю несостоявшегося союза двух сердец.

Сначала они посидели за обеденным столом, в гостиной с огромным эркером, выходящим центром заоконной панорамы на скудный палисадник с обильно-жёлтыми шарообразными цветами при крупных листьях-лопастях. К столу Моисей купил бутылку шампанского и коробку шоколадных конфет.

– Это рудбекия, – пояснил он, обратив внимание на то, как гостя, заметно смущаясь, разглядывает жёлтые цветы перед домом, – они сейчас по всей Москве цветут, в основном по дворам. Только у других они, как правило, обыкновенные, а наши – бахромчатые. Эти будут цвести до первых заморозков.

«Нет, ну что же это такое! – чуть даже огорчённо подумала Верочка, понимая кивнув. – Он и про это знает. Да он вообще всё на свете знает, ну как ему лапшу эту вешать про мальчика подо льдом?»

– Если ты останешься у меня до заморозков, то увидишь, как это красиво, когда всё вокруг увяло, а они всё ещё красуются, одни-единственные. – И посмотрел на неё, открыто и в упор: – Ты останешься?

– До заморозков? – удивлённо и чуть-чуть игриво переспросила Верочка. – Не дольше?

– Навсегда... – отозвался Моисей Дворкин без малейшей игры в голосе. – Ты останешься здесь навсегда. Начиная с этого дня. Ты согласна?

– Согласна... – пробормотала она, по привычке уведя глаза в пол. – Я всегда была согласна, я всегда знала, что всё так будет.

Она приникла к нему, но уже не как прежде – просто положила голову на плечо, оперев кисти рук о его предплечья, – именно так поступают родные друг другу люди в минуты взаимных откровений.

Потом они поцеловались, продолжительно, но мягко, без той обуревающей страсти, что рвалась из обоих в Нескучном саду. Теперь это была другая, особая, новая близость.

– Сейчас вернусь, – прошептал Моисей, оторвав свои губы от её уст, – подожди немного.

Он вышел из гостиной и устремился в ванную. Там он запалил газовую колонку и стал набирать в ванну горячую воду. Оставалось лишь оказаться в ней вместе с Верочкой, предварительно погасив свет. Так решалась задача ухода от действительности, и именно этот способ избежать её придумал он в процессе мучительного отбора, среди десятка прочих, единственно верного варианта.

Он вернулся, взял её за руку и тихо произнёс:

– Пойдём, Веронька моя.

Она машинально шла за ним, уже зная, куда её ведут, но всё ещё не ведая, как ей лучше поступить. Однако маршрут оказался иным. Моисей завёл её в ванную комнату, указал на чугунную ванну, полную горячей воды, от которой поднимался густой пар, и улыбнулся:

– Забирайся, я сейчас приду.

Когда он вернулся, в одних трусах, она уже сидела в воде, стыдливо опустив плечи и прикрыв ладонями грудь. Одежда её, аккуратно сложенная в стопку, покоилась на табуретке для ног. Эту низенькую, но сравнительно широкую табуретку, когда-то смастерённую рукастым родителем, тот обычно подставлял низкорослой Моисеевой маме, страдающей вегето-сосудистой дистонией, когда та выбиралась из ванны, боясь головокружения. И это было трогательно вдвойне.

– Погаси, пожалуйста, свет, – прошептала Вера, – так мне будет спокойней. Просто я немного волнуясь.

Это была идеальная просьба уже насмерть любимой женщины, так легко и просто решившей его проблему. Он щёлкнул выключателем, сдёрнул в темноте трусы и, переступив через бортик ванны, опустился в воду. Он был крайне возбуждён, чувствуя, как кровь пульсирует в низу его живота, нагоняя дикое желание соединиться с любимой, схватить её за предплечья, притянуть к себе и ласкать, ласкать, ласкать... и уже, овладев её телом, дальше обладать им всегда. Моисей прижал губы к её соску, другой он в это время гладил пальцами, чувствуя, как тот стремительно набухает под его ласковой рукой. Соски у Верочки оказались почти что такими, какие были у несчастной чешки, которую гвардейский капитан Дворкин насиловал под развесистым кустом в часы затишья перед решающим наступлением его полка на город Прагу. Да и грудь мало чем отличалась – под рукой капитана запаса трепетала упругая молочная железа, и снова примерно того же любимого размера. И это взорвало в нём ещё одну страсть, добавочную, разом сложившуюся с основной. И тогда он, не в силах больше терпеть эту муку, одним коротким толчком бёдер соединил своё тело с Верочкиным. Она вскрикнула, но так, чтобы было не до конца понятно, то ли это боль, та самая, первая, девичья, то ли её короткий вскрик был всего лишь знаком услады от долгожданного слияния с возлюбленным.

Они ещё долго не расцеплялись. Даже после того, как он, дважды испытав мощный взрыв внутри своего организма, прервал объятия. Затем они вновь поцеловались, но уже как муж и жена – то было очевидно для обоих. Оторвав руку от её груди, он потянулся к сливной затычке. Выдернул и, убедившись, что вода потекла, вернул руку на грудь Веры. Когда

вода, уходя, достигла пояса, Моисей поднялся, вышагнул из ванны и, счастливый, что всё так славно получилось, пробормотал:

– Пошёл стелить, приходи в спальню, я буду там. – Выйдя из ванной, щёлкнул выключателем, дав свет.

Он так ничего и не узнал. Он ничего не видел. И не понял ничего. Потому что всё могло быть. Или даже было. Или вовсе не имело места. Ему было неважно. Если бы только сама же Верочка не завела разговор. Она и не завела. Просто пришла, легла рядом и, закинув руку ему на грудь, затихла.

## 3

Через девять месяцев после любовной сцепки в обесшеченной ванной комнате в семье Грузиновых-Дворкиных родился Лёвушка, сын. Вера хотела Андрея, но ещё колебалась, не была окончательно уверена, что имя подойдёт. Когда-то Анастасия Григорьевна, хотя и имела с дочерью весьма короткие отношения, всё же не рискнула поведать той о залётном картёжнике, оставившем её без копейки и детской ложечки в придачу, а попутно, в одно касание, помимо основной неприятности, сделавшем ей ещё и дочку. Версия отцовства была иной, совсем уж утопической – настолько, что даже не тянула за собой нужды в каких-либо уточнениях. Именно по этой причине родилось недоверие к изложенной матерью повести об отце. К тому же настораживала изобретательность, когда та советовала ей, оправдывая утраченный целяк, сделаться пострадавшей в результате трагедии с мальчиком-женихом. И потому призрачный «Андрей» на достойное для сына имя никак не тянул. «Лёва» – стало компромиссом, ибо, с одной стороны, это и не откровенно нерусский «Наум», о чём поначалу просил Моисей, имея в виду стареющего в Свердловске отца, а с другой – и не «Андрей», вообще вызывавший у Дворкина отрывку и откровенную тоску. Причиной тому стало весьма давнее уже обстоятельство, впрямую касавшееся того, что его завкафедрой, Андрей Иванович, никак не мог взять в толк, отчего столь способный к науке ассистент Дворкин, вместо того чтобы, как все нормальные, выбрать себе приличную тему и дальше двигаться с ней в кандидаты, интересуется различным околонуточным непотребством типа этой так называемой мезамеханики. И чего он там в ней нового напридумывает, хоть и толковый, с головой. Нет же, всё про своё толкует – что, мол, ужасно интересное направление исследований на совершенно новой основе, типа того, что устанавливает мост между механикой сплошных сред и металлофизикой. И что в результате такой его работы непременно будут получены новейшие результаты, и они уже наверняка дадут объяснение механизмам пластического деформирования, микроразрушения и ползучести металлических и неметаллических материалов. Они же поведают научному миру и о существенной роли поверхностных слоёв и тонких, понимаешь, каких-то там ещё плёнок и покрытий. Если на чистоту, Андрей Иванович и сам хорошо не понимал, о чём просит этот молодой да ранний. Но тот, чёрт бы его, нерусского, побрал – недавний фронтовик, боевой гвардейский офицер, наград – хоть фоткайся рядом. Ну он и плюнул, заведующий Андрей Иванович, поломав часть начальственной гордости об колено, хотя уже в тот год учуял в нём врага, будущего умника, какой со временем неизбежно станет притязать на насиженное им место.

Ну а имя «Лёвушка» понравилось как-то сразу, обоим. Было в нём некое для супругов таинство, погружённость в сказочную нежность, душевность и доброту, несмотря что царь диких зверей. Кроме того, как вызнал Моисей, у евреев это не что иное, как «сердце». При том что само имя пришло из греческого. А вообще – и русское, и православное, и католическое, и армянское. Христианское, одним словом. Да мало ли какое!

А с фамилией вышло чуть заковыристей, пришлось поделиться. Вера никак не соглашалась на единственно мужнюю, неоднократно высказываясь, что это просто совершенно непереносимо для наследной княжны – утратить последнюю связующую ниточку с родом Грузиновых. Как это вообще можно, Моисей, искренне изумлялась Вера, одновременно дивясь и тому, откуда в ней, воркутинской засыхе-безотцовщине при врушке-матери и не слишком приспособленной для ученья голове, обнаружилась вдруг эта чисто дворянская спесь. «Да и Лёке не помешает, – всё докладывала Верочка полешек туда же, в общую семейную топку, – глядишь, времена переменятся и кто был никем, тот вдруг опять станет кем-то приличным и спросовым. А ваших вдруг ни с того ни с сего гнобить начнут, как было не раз, или как турки – армян, сам же знаешь. Чего тогда Лёкочке нашему делать, куда деваться

прикажешь?» Вопросом насчёт того, что в этом случае будет с ним самим, Моисеем, чисто Дворкиным, безо всякой спасительной добавки, она почему-то не задавалась, хватало решения и для лучшей половины проблемы.

Лёкой Лёвушка тоже сделался по общему согласию – как-то вышло само, больше по случайности, чем выдумали для него такое. Назвал себя сам, когда уже стал неловко складывать ещё кривые для рта буквы в первые слова. Оно и получилось – Лёка. И осталось. В общем, и тут поладили. Они вообще первые годы жизни ладили лучше не бывает.

Так шло вплоть до того дня, пока по истечении тринадцати лет супружеских радостей тёща, она же княгиня Анастасия Григорьевна Грузинова, не высадилась, выйдя на пенсию, на Каляевскую пристань для уже постоянного, само собой, столичного проживания на площади молодых. Ей только-только стало пятьдесят – ранняя пенсия, да с учётом северного надбавочного коэффициента.

Жить её определили в комнату к неполных пятнадцати лет внуку Лёке, хотя тот и смастерил, ясное дело, кривую мину. Спать в одной в комнате с воркутинской бабушкой отроку не улыбалось ни по какому. В ту пору он непрерывно думал о девочках, и не проходило дня – а скорее ночи, – чтобы Лёка не только не грезил о них, но и мысленно не представлял бы себе процесс – тот самый. В такие напряжённые минуты всякая посторонняя душа, даже если и являлась пожилой собственной бабушкой, обращалась в ужасающую помеху младым его горячительным фантазиям. Процесс вживания в мечту требовал не только глубокой тишины и совершенной темноты, но и избегания любого свидетельского присутствия в одном с ним помещении. Баба Настя, имея закалённое севером здоровье, засыпала быстро, и, с одной стороны, он это в ней ценил. Но всё же нахождение её поблизости от тахты, где он спал, мешало сосредоточиться на главной мысли, и по этой причине картинка, которую Лёка вызывал богатым пацанским воображением, каждый раз рисовалась недостаточно, без обычных затей, к каким он уже успел привыкнуть, начиная лет с тринадцати или около того.

В остальном – не возражал. Помнил ещё по прошлым годам то, как новоявленная бабушка полюбила его крепко и сразу. И как она всякий раз привозила внуку северный гостинец в виде, к примеру, лакированного копытца оленёнка, в который был вделан нож для ненужной никому резки бумажных листов, или чего-нибудь вкусенького вроде вяленой оленины и прикопчённых животиков беломорского сига. Лёка крутил в руках очередной бумажный ножик из тех, что бесчисленно по праздникам и датам несли главбухше сотрудники угольного комбината, и пытался вызнать для себя, в который раз допрашивая бабаню:

– А зачем у вас олешков убивают, бабушка? Они же хорошие, они добрые, они Деда Мороза на саночках катают.

В ответ баба Настя лишь издавала короткий несогласный звук и ответно нападала:

– Хм! А ты знаешь, какое у них мясо вкусное? Вот попробуй сначала, а потом и говори! – После краткого курса человеколюбия обычно она гладила внука по голове, приговаривая: – Княжённок наш, княжёнчек... Грузинов самый что ни на есть... Только не говори никому, а то забьют. Или же изметелят. Люди, они такие. Не любят, кто лучше и кто не такой, как сами.

– Почему только Грузинов? – удивлялся ребёнок, пропуская мимо ушей часть бабушкиных слов, не несущих, как обычно, даже малой сути. Да и не ему предназначались они: скорей Анастасия Григорьевна лишний раз напоминала это самой же себе. Но его интересовало другое. – А как же Дворкин? Я же и тот и другой, баб Насть?

– Дворкин ты по метрике, и то наполовину. А Грузинов – по крови, по уму, по наследию нашему.

– А сам князь тогда кто? – не угованивался внук, пытаясь добраться до истины. – Папа?

За время начального его возмужания отец, Моисей Наумович, на подобную тему так ни разу с сыном и не поговорил. Да и вообще, надо сказать, общался недостаточно,

всё больше проводил время в спальне-кабинете за письменным столом. Над докторской работал, над какой-то ужасно важной для него диссертацией. А маме, когда та намекала ему, что хорошо бы и сыночке какое-то время посвятить, отвечал абсолютно искренне, что – рано.

– Ну рано пока, Верунь. Вот подрастёт малость, поумнеет до разговоров с отцом, тогда я же первый его в родительский оборот и возьму, пока вы его окончательно не испортили. А так – сю-сю, ню-ню и всякое такое – только во вред.

Вообще-то, лукавил. Врал. Не считал так, но не отпускала работа – всё туда, в мозг, в адскую копилку, в огонь большой будущей славы. И вновь погружался в неведомые расчёты, мотая туда-сюда узкой серединной планкой логарифмической линейки.

– Папа? – закатывалась бабушка. – Папа у нас еврей, как же ты забыл, миленький. А у них князей нету и отродясь не было.

– Почему не было? – никак не мог взять в толк маленький Лёка. – Евреи хуже других, что ли? Отчего так?

– Да нет, – с досадой отмахивалась Анастасия Григорьевна, – не хуже, наверно, хотя и не так чтоб похожие. Просто евреи народ пришлый, кочевой. Как цыгане. Одним словом, не коренные они, не как мы. С Палестины явились бог знает как давно. И остались. В смысле, надолго задержались и сделались осёдлые. Тоже как цыгане, но не все.

– А у вас там есть цыгане, на Севере, – допытывался внук, – которые как евреи?

– Ой, да бог с тобою, маленький! – отбивалась бабушка Настя. – Евреи откуда там? Евреи, они тёплое любят, чтоб удобно для жизни. И чтоб купи-продай неподалёку имелось. А у нас там чего купи и как продай? Уголёк разве что каменный да с дохлого оленя шкура – вот тебе и все покупки тамошние да продажи.

Так и общались с бабушкой лишь по отпускным её наездам в Москву. Но тогда её присутствие в одной с ним комнате не мешало, а даже наоборот: когда он слышал её ровное дыхание, то где-то у самого сердечка становилось вдруг покойно и тепло, и потому, проснувшись, Лёке хотелось полежать ещё сколько-то в ожидании той минуты, когда его северная бабушка проснётся и, подойдя к его кровати, погладит внука по голове.

Однако за годы многое поменялось. А главное, сам он, обратившись из маленького неразумного княжёнка в юного подростка-принца, хотя и с десятком никак не проходящих прыщей чисто гормонального свойства, посчитал такое соединение излишним. Вместе с тем выбора не оставалось, никакого. Была, правда, ещё одна глухая комнатёнка при кухне – так, пустышка в обоих смыслах, а попросту – кладовка. По-хорошему, для одного объёмного сундука. Хотя на деле вмещались два: один принадлежал Грузиновым-Дворкиным, другой – «этим». Но если постараться, вставала, если что, и кровать, не самая, правда, объёмная. И больше ничего.

Про себя каждый, разумеется, имел её в виду, однако дневной свет через задранную к потолку едва прозрачную фрамугу пробивался внутрь кладовки настолько никак, что необъявленное решение членов семьи Грузиновых-Дворкиных так и оставалось в силе – будет пустовать, как пустовала прежде. Смиримся и без этого аппендикса, отнесённого на периферию жизни.

При всём при том была в прибавлении семейства и определённая полезность, ибо начиная с этого дня ведение домашнего хозяйства перешло в тётчины руки. Вера же Андреевна, измаявшаяся многолетним ничегонеделаньем, решила наконец устроиться на работу. Хотя с лишним временем, как ей казалось, у неё и без работы было не очень. Безделье съедало массу сил, не оставляя вариантов для любой системной занятости. И всё же она решилась, дабы испробовать себя в новых жизненных обстоятельствах. Понятно, что не связанных со специальностью, да и не было у неё таковой – сразу после рождения Лёки ушла в академику, из которой так и не вернулась. Со стипендии её, ясное дело, скинули, но зато и долг перед комбинатом отрабатывать не пришлось в связи с законным замужеством и сменой

места проживания. Да и при чём специальность – она и так уж сколько лет профессоршей при муже Моисее, тоже кой-чего стоит.

А устроилась неподалёку, в большой красивый гастроном. Мимо шла, а там бумажка висит, на которой вычитала: «Магазину требуются грузчик и продавец в кондитерский отдел». Она и пошла на ту бумажку – ноги сами повели, как на дефицит. И сразу туда, где директор, в подсобку. Вошла без стука, строго посмотрела на расположившегося за рабочим столом представительного мужчину слегка старше среднего возраста, повышенно жгучей наружности и с папиросиной во рту. Сообщила, чуть снисходительно, учитывая, что сама – не этого профиля:

– Добрый день, товарищ!

– Что, обвес? – не отрывая глаз от накладной, привычно бормотнул мужчина.

– В смысле? – не поняла Вера. – Я по объявлению к вам, по вашему же, которое на дверях.

– Грузчицей, что ли? – незлобиво усмехнулся тот, оторвав глаза от стола и разом, с ног до головы ощутив визитёршу маслянистым взглядом.

– Для начала я бы сама послушала вас, уважаемый, – жёстко отбилась Вера Андреевна, успевшая за годы жизни при Моисее Наумовиче отвыкнуть от любого проявления солдафонства. – Я, между прочим, профессорская жена, имею незаконченное высшее. Так что могу не только ящики передвигать. Кстати, в продавщицы тоже не собираюсь.

– Так, может, вы дворянка столбовая, – театрально оторвав зад от стула и любезно поклонившись, насмешливо справился директор, – а я тут, понимаете, без всякого почтения? Стоп! – воскликнул он, и вновь весьма игриво. – Или ещё выше возьмём – типа владычица морская? – И сел, воткнув папиросу в пепельницу.

– Ну, владычица не владычица, а наследная княжна, вообще-то, – пожалала плечами посетительница, – Грузинова Вера Андреевна. Это моё имя, кстати. Если оно вам, конечно, о чём-то говорит. – И села на стул, прямо перед ним, без лишнего приглашения. Она уже знала, что понравилась. И потому решила не выпускать из рук залётную птицу удачи.

– Погодите, – замотал головой директор, – вы же говорите замужем, профессорша, тогда с какой стати княжна? Вы ж должны быть княгиней, раз уже не девица, это ж любому грузчику ясно, а вы в грузчики не желаете. Напра-а-асно...

Он то ли так кривовато шутил, то ли открывшаяся нестыковка ввергла его в сомнение и теперь он уже сам несколько изощрённо отбивался. До этого дня Верочка над нюансами не задумывалась, просто не выпадала okazия. А торгаш этот, выходит, задумался раньше её самой, да ещё издёвку в разговор ввернул. Но только она не растерялась, тут же отреагировала как надо, мысленно хваля себя за находчивость. Правда, пришлось слукавить. Точней говоря, соврать.

– При живой матери дочь остаётся княжной вне зависимости от брака, – пояснила безработная профессорша, – просто родительница в этом случае именуется княгиней-матерью. И только после смерти титул её переходит к дочери. – И снова Вера Андреевна Грузинова-Дворкина строго воткнулась зрачками в работника торговли. – Усвоили или требуется разжевать дополнительно? – Не услышав ответа, добила, как сумела: – Мама моя, кстати, главный бухгалтер комбината, с огромным опытом работы по специальности, так что вы это тоже имейте в виду, если что.

– Которая живая княгиня-мать? – только и сумел выдавить директор, доедая Веру жгучими маслинами. Она уже и сама видела, что дядька поплыл так, как флотирует не управляемая никем, гружённая по самую ватерлинию баржа, какую уже ничем не остановить. И то правда: в ту секунду человек с погасшей папиросой уже воображал её совершенно голой, совсем без ничего, в одних лишь чулочках на резинке, со швом, и при высоких каблуках. Оба уже знали, что сплуются, хотя ни тот ни другая ещё не ведали, на почве чего. Он, про-

должая неотрывно поедать визитёршу глазами, мысленно раздевая и вновь собирая получившиеся фрагменты в цельный и весьма аппетитный образ, прикидывал, какой бы из отделов ей вручить, чтобы не оказаться в пролёте. Или какую, может, другую обязанность вменить, если отыщется в штатном расписании место, годное для такой незваной столбовой посетительницы.

Она же вдруг подумала, что у неё ведь никогда и никого толком не было, вообще, в принципе, в любом смысле, как ни посмотри. Сначала она была просто дочерью, сразу вслед за тем – матерью. Всё. Верней – ничего!

Это осознание накатило на голову так же внезапно, как и бросилась в глаза та роковая бумажка с вакансией грузчика.

«Жизнь проходит... – раздумывала она, покинув кабинет гастрономического начальника и пристроившись в очередь в кассу. К моменту, когда до пробития чека перед ней оставалась всего лишь одна спина, она уже успела понять, что пребывает в полной растерянности от этого пустякового на первый взгляд, случайного визита в подсобку торгового заведения. И это не то чтобы озадачивало её, это некоторым образом сбивало с толку, лишало привычной устойчивости, заставляя остановиться и оглянуться. – Ничего не происходит... – сверлила голову неотвязная мысль. – Моисей сам по себе, я – сама. Лёка вырос, скоро оба будем ему не нужны. И с мамой один лишь головняк и больше ничего, только место занимает: как бы Лёка скандалить не начал, этого нам ещё не хватало...»

– За два молока, пожалуйста... – рассеянно проговорила она и протянула нелюбезной кассирше деньги.

Та аж взвилась:

– Вы б ещё в семь пришли, гражданочка! Молока ей, понимаешь, захотелось в такое время!

Возможно, именно в это мгновенье ей, женщине незлобивой и довольно выдержанной, вдруг захотелось всеми силами отомстить этой гадкой безголовой крикунье, не разобравшей своим глупым нюхом, кто находится перед нею – профессорша, дворянка и вот-вот её же начальница. Однако Вера Грузинова ничего не сказала. Молча посмотрела той в глаза, повернулась и ушла.

А с директором они договорились, что тот ещё посмотрит отдельно по вакансиям и о результате даст знать звонком на квартирный номер. Добавил ещё, что в удачное время обратилась, только уволил кой-кого за недогляд, так что... Звать его, если что, Давид Суренович, фамилия Бабасян. Для друзей – Додик, но только для очень, очень близких: так и намекнул, соорудив многообещающую улыбку, когда прощались.

– Мясной отдел имеют? – первым делом поинтересовалась Анастасия Григорьевна, когда дочка поведала ей о визите в гастроном.

– Кажется, имеется, – неуверенно ответила Вера, уже думая о трёх вещах одновременно, – а что?

– Да то! – едва ли не искренне возмутилась мать. – При мясе будем, при своём, разве ж плохо? Рубщик с килограмма семь копеек имеет, помощник его – три, остальное – ваше. В смысле, наше, твоё и Додика этого, что на тебя запал. Если, конечно, на должность поставит. Смотри, строганина, что в стружку при рубке идёт, сроду не учитывается, костная крошка – туда же, не в зачёт. А там ещё пересортица обязательная, недовес, списание на грызунов, от полёвки до помойной крысы, плюс выкупальщички с заднего хода. Да одна только бумага упаковочная, если за полный трудовой день собрать, знаешь на сколько потянет! И мало ль ещё чего. Вон мандарины, к примеру, взять, особенно перед Новым годом, – это ж чистая валюта! Помню, в том году завезли к нам в магазин тонн десять под самые праздники, для ветеранов колченогих и прочего инвалидского сословия. Я лично подсчитывала, их там душ сорок прикреплено, не больше. Это ж по четверть тонны на каждого старого или совсем

уже полумёртвого. Ну и пошло дело, с заднего, само собой, хода: попервоначалу зубные отоварились, после них санэпидемия, пожарники, милиция вся, какая есть, райздрав. К концу дела – школьные и родня. Ну сами работники взяли кило по пять. А всё равно осталось тонны с четыре. Тогда решили ветеранам дать, но не просто, как положено – за так, за геройство, а безо всякой скидки – по цене. С полтонны, решили, отпустят. Остальное, когда уж совсем погнило, выбросили в открытую продажу, гражданам, всем подряд, как некондицию, копеек по тридцать – тридцать пять, типа на витаминный компот. Ну так они и убивались за этот компот, сама же наблюдала.

– Да откуда же ты всё это знаешь, мам? – поразилась тогда Вера материному изложению правды жизни. – Ты-то тут при чём?

– Главбух вечно при чём и всегда везде, – пожалала плечами княгиня. – К тому же если партийный и зарекомендовал себя в разрезе верности делу.

– Моисей не ест мандарины, – только и нашла что ответить Вера, – у него от них покраснение ляжек и чесуха.

Агитируя дочь за торговую жизнь, Анастасия Григорьевна и на самом деле неплохо ориентировалась в теме, поскольку прошла хорошую школу. После того как отправила Верочку на учебу в Москву, пришлось ей резко ослабить былую уступчивость. Поначалу выискивала подходящие поводы, чтобы не позволять больше угольному директору за так плющить себя об стол. Сюда, по перечню, входило разное: чрезмерно затянувшиеся женские недомогания, внезапные головные боли, не сданные ко времени бухотчёты и попросту ранние, до истечения рабочих часов, уходы со службы без объяснения причин. Однако всё не помогало – директор нервничал, сердился, порой психовал, грозя увольнением, но при этом неизменно жаждал встречной чуткости. Уже не мог без этого обойтись. Как только вспоминал эти её длиннющие пальцы, щекочущие ему хребет в моменты подступания к горлу наивысшей точки наслаждения... О, эти пышные, будто налитые изнутри упругим холодцом бело-розовые груди! А эти ямочки и ложбинки от уха и до ключички, с той и с другой стороны от шеи, какая и сама то и дело просилась, чтобы прижаться к ней, всосать губами мякоть нежной не по-воркутински кожи и тут же перейти ближе к подбородку, чтобы пришлось на самый изгиб, под которым скрывалось потайное место, по которому точно так же хотелось елозить растянутым до упора ртом.

По-хорошему можно было и терпеть, тем более что другого мужика из числа неразобранных в этой скудной округе всё равно не наблюдалось. Но уж больно грузен был, краснорож и потлив. И гадко пыхтел несмазанным чугунным паровозом.

Каждый раз, придя в себя после очередного «настоля», княгиня вынужденно подолгу прихорашивалась, стирая с ушей и шеи остатки тягучих слюней и затушёвывая крем-пудрой бледные кляксы от отодранных ею, уже начинавших подсыхать директорских соплей. Потом, уже дома, она подолгу отмывалась и отплёвывалась, настраиваясь на каждодневный рабочий режим. Никакая дочкина стипендия уже не стоила того, тем более что и не было её.

Выждав какое-то время, Грузинова поговорила с ним начистоту, предложив узаконить отношения или же оборвать их вовсе. Сказала, так больше не может продолжаться и потому: или – или. Она, хоть и терпеливая, но не железная, чтобы настолько продолжительно любить и не мочь воспользоваться любовью своей в полной мере. Надоело врать, прятаться, каждый раз разводя эту антисанитарию и прочую полюбовную канитель на бухгалтерском столе. За все годы, сказала, даже не удосужился диванчик в бухгалтерию завести и к нему же парудругую простыней заиметь. Всё, сказала, у нас с тобой как у диких зверей, как у обыкновенных неразумных животных, не ведающих страха, упрёка и чистоты помысла до и после случки.

Директор слушал, соглашался, но тут же, пыхтя, уже пытался, обхватив её руками, опрокинуть на всё ту же освобожденную для любви поверхность. Головой согласно мотал

и глазами как надо делал, а только и самому уже было ясно, что окончательно сбрендил, не видя себе больше жизни без регулярных утех с Настасенькой своей. Так прямо и сказал. Но и про то, что семью не бросит, тоже не забыл упомянуть, несмотря ни на какую мужскую улётность. Партия, добавил, так и так не позволит из семьи уйти, ячейку порушить.

После этих признательных слов иного варианта, кроме как принудить сластолюбца порушить ещё одну, незаконную, ячейку, у княгини Грузиновой не осталось. Она и пошла в райком, к партийным человекам, призванным приструнить всякого, посягнувшего на нравственный устав. Местный второй секретарь оказался и приятно моложе, и учтивей, чем этот надоедливый бес, и княгиня тут же сделала выбор в его пользу. Тем более что в его кабинете уже имелся просторный кожаный диван с отделяемыми при надобности подушками. Остальное тоже наблюдалось не по остатку: даже графинчик водяной был не обычного сизого стекла, как у её бывшего, а чистого, сверкающего острыми гранями хрусталя.

Она подгадала прийти к концу рабочего времени. К тому же за райкомовским окном всё ещё круглилась полярная ночь, и им оставалось лишь приглушить свет секретаревой настольной лампы. Договор они подписали в один приём, не забыв скрепить его взаимной печатью, одной на двоих. Да и твёрдо накрахмаленная казённая простынка нашлась, там же, прибранная в низ книжного шкафа, верх которого обильно занимали труды Карла Маркса, Энгельса и Ильича.

В общем, поладили они, княгиня и секретарь, скоренько и вполне по-деловому договорившись и о самой методе, и о путях её осуществления. Обошлось без сигнала с места, не понадобилось и сочинённой специальным тружеником парочки подмётных писем, какие обычно означают начало близкого конца. Новый же господин просто вызвал директора на ковёр, потолковал с ним по-свойски, без угроз и прочей грязи – так, чтобы тот понял, что не сбрендил, а просто ошибся, что вполне сможет обойтись и без привычной утех и что ошибка его не повторится даже в случае, если станет взаправдашне умирать.

Спустя пару лет Анастасию Григорьевну назначили главбухом комбината, несмотря на недостаточно зрелый для должности опыт.

А ещё через немного лет очередной второй секретарь, целиком заменивший прежнего в пристрастиях и на посту, сделал так, что товарищ Грузинова, сдав исполкому свою протечную, почти барачную однушку, перебралась в улучшенную двушку, расположенную внутри границ культурной жизни заполярного поселения. К этому же моменту стала она и партийной – он опять же позаботился, по ускоренной схеме.

Незадолго до того, как окончательно вырваться из гиблых мест, главбух Грузинова выменяла законную двушку на комнату, пребывающую в плачевном состоянии да в напичканной убитой коммуналке, выручив изрядную доплату. Сумма эта и стала непустяшным приданым при прописке на территории Моисея Дворкина, зятя.

Как только приехала и малость пообвыкла, резко сменив прежний распорядок жизни на существование в режиме без страстей, первым делом начала подыскивать занятие по нутру. Красота и порода всё ещё присутствовали, но уже не столь часто напоминали о себе со стороны. Вера, дочка, намекала, помнится, насчёт разовых мужчин, чтоб слегка отвлечься от холостячества и попутно иметь презент. Но теперь у родительницы её имелось дело поважней этого бесперспективного занятия, а именно – гнобление нашествеников. Собственно, с этого дня однобокое противостояние тёщи Моисея Наумовича и двух наполовину пришибленных стариков из комнаты с эркером перестало быть незаметным.

«Нет, ну а чего совеститься-то? – ободрённая ощущением единственно возможной правоты, прикидывала Анастасия Григорьевна. – Не по закону, так по совести хотя б, по справедливости, по уму. И вообще, на шестом десятке стеснительность особо уже не работает, всё главное у этого чувства уже глубоко позади, и незачем, понимаешь, трусос-

ватого боженьку из себя строить: дело надо делать, во имя процветания на полных квадратных метрах единственно нашей семьи во вред бесчестному Рубинштейнову благу».

Вместе с тем зацепиться, чтобы нормально начать, было не с чего. Тех двоих как раньше было не слышно, так и теперь видно было едва-едва. Выползали по старой схеме и уплывали обратно, не оставляя после себя ни долгого запаха, ни любого понятного следа. Кухарили минимально, ну а обязательный чайник, так тот вообще у себя ставили, сунув в розетку. И чашки споласкивали, когда на кухне никого, – хоть стреляйся от безнадёги.

Слабых мест в стариковской обороне не имелось, и свободных площадей от этого не прибавлялось. Не обнаруживая проявления на деле, но вместе с тем ощущая тётцин настрой на малую войнушку с подселенцами, Моисей Наумович лишь удивлялся количеству нервной энергии, отдаваемой Лёкиной бабкой на подзарядку заведомо пустых батарей.

– Анастасия Григорьевна, – обращался он к ней, следя за тем, как бы поблизости не оказался Лёка, – ну подумайте, ну что лично вам принесёт эта необъявленная травля? Ненависть, поверьте, как и любовь, имеет мощный эфирный отзвук в среде так называемых торсионных полей: она же подпитывает всякого человека негативом, который, в свою очередь, незаметно для него излучается дальше, неся нехороший, недобрый сигнал в пространство разума, в так называемую ноосферу. Мысль материальна, теперь это известно и, можно сказать, уже неоспоримо доказано. Вот вы, к примеру, подумали о чём-то нехорошем, или, наоборот, что-то очень хорошее и доброе в голову вашу залетело. И это не просто так, поверьте: влетело – вылетело и без остатка забылось, – совсем даже не так. Всякая мысль и слово остаются в сфере разума, которая сама по себе никуда не девается, а лишь ширится и развивается как отдельный и более чем функциональный организм. Как безграничная живая пустыня, если угодно, где каждая песчинка есть крупинка памяти, обрывок слова или направление мысли. Вместе они и составляют то самое пространство объединённого человеческого разума, которое, скажу вам честно, вполне возможно, достигает и космических пределов. Зависит, само собой, от личности каждого излучающего. – Он выдавливал кривую улыбку, вздыхал и подвигал опустошённую наполовину чашку ближе к теще, чтобы та долила в неё кипятку. – Полагаю, при вашей безудержности отрицательно заряженные частицы нелюбви в отношении несчастных наших соседей лишь обрекут вас на излишние хлопоты. А искомую вами подпитку в нашей семье вы всё равно не получите, просто не от кого, все давно с этим смирились, никто из нас не воспримет ваши сигналы, как зыв...

Впрочем, не эта дурацкая борьба без очевидного результата занимала голову Моисея Наумовича. Неделей раньше он официально возглавил кафедру, перешедшую к нему из рук скоропалительно скончавшегося, вполне безобидного, но неисправимо затхлого рутинёра Андрея Иваныча. Что предвидел покойный и чего он же опасался, то и вышло – его место занял новатор, генератор неизменно свежих идей и педагог от бога, профессор Дворкин М. Н.

Был май, близился День Победы, и, готовясь к нему, каждый раз Моисей Дворкин заранее извлекал из потайного ящика письменного стола деревянную шкатулку с воинскими наградами. И точно так же загодя, протерев каждый боевой орден и каждую медальку тыльной стороной ладони, он размещал их на специально отведённом когда-то для этого гражданском пиджаке, левой и правой лацканов. В этот раз, как надо приготовившись, тоже сходил на Красную площадь, к месту ежегодного сбора живого остатка гвардейского гаубичного полка. Два дня с той поры-то всего и минуло. А настроение ни к чёрту. Из-за того, что натолкнулся на него там же, на площади. На Фортунатова. Тоже в наградах, тоже Первого Украинского фронтовик. И лицо знакомое. И первый же поздоровался с Моисеем Наумычем как со знакомым. И даже честь отдал как офицеру, а сам – старшина-артиллерист, судя по знакам различия. Явно в курсе был, что профессор офицер, а только откуда?

Короче, обнялись, как водится, разговорились.

– Я ж кадровик наш, Моисей Наумыч, – помог ему вспомнить Фортунатов своё же лицо, – в кадрах тружусь, в Горном институте, не припоминаете?

– Точно! – воскликнул довольный Дворкин, признавший сотоварища по месту общего труда. – Не знал, что и вы тут. Можно сказать, сюрприз да и только. – Ферапонтов, кажется, фамилия ваша?

– Фортунатов, – поправил профессора кадровик, – Николай Палыч. Коля, если по-простому.

– Ну а я в таком случае Моисей, – хохотнул профессор Дворкин. – Будем заново знакомиться, Николай, как выжившие друзья-артиллеристы.

Тот вытянул из-за пазухи солдатскую фляжку, откупорил, себе налил в крышечку, саму же подал Дворкину, хлебнуть из горла:

– Ну что, за Победу?

– За победу, Коля! – с энтузиазмом отозвался Моисей Наумович, – за нас с тобой, брат ты мой дорогой!

Выпили. Потом ещё, по две подряд, чтобы не редить. И сразу вслед – по последней.

– Слыхал, кафедру получили? – уважительно поинтересовался Фортунатов. – Мои поздравления.

– Благодарю, – мило улыбнувшись, откликнулся Дворкин, ощущая приятное покачивание в голове. – Имею, кстати сказать, большие планы. Сдерживающий центр самоустроился, так что теперь, думаю, всё пойдёт у нас совсем иначе. Да и кафедра, как я полагаю, лишь временный промежуток, поскольку двигаться намереваюсь дальше и уже без особой задержки.

– На Академию намекаете? – понятиливо кивнул Фортунатов.

– На неё. – Моисей Наумович согласно опустил голову. – У меня, если публикации посчитать, на трёх академиков, думаю, наберётся, осталось только систематизировать и – покамест в членкоры. Ну а там поглядим. Врагов вроде бы не нажил, не сумел, как говорится, хоть и старался.

Фортунатов несколько задумчиво кивнул, оценив шутку, однако ничего не сказал. Какое-то время ещё помолчал, переваривая слова профессора. И всё же вымолвил, выдавил из себя, хотя и явно не без внутреннего сопротивления.

– Тут такое дело, Моисей Наумыч... – не слишком бодро начал Николай. – Вам это... – Он заметно мялся, не решаясь вступить явно не в свою воду, но продолжая всё же разминать начатое. – Ну, в общем, не знаю я, наверно, нарушаю сейчас инструкцию... а может, и преступление это должностное, не могу сказать... но только и до вас не донести тоже не могу, не имею такого же права, как и молчать. Мы, Моисей Наумыч, фашиста вместе били, вместе хребет свой врагу подставляли, чтоб всё главное и страшное на него пришлось, на наши с вами плечи, а не на чьи ещё... так что же я теперь подличать стану против вас же самого? Кабы ещё не в курсе был, кабы не знал так достоверно... А я сам такой, можно сказать, у той же Праги стоял, где и вы в то время были, и, может, даже поблизости располагались мы друг от друга. Гаубицы, они с дальнобойками всегда дружили: где одни начинают, там же другие оканчивают. – Печальными глазами он посмотрел на Моисея. – И чего ж я теперь от вас правду таить стану, если же сам на ней и сижу, по долгу теперешней своей службы.

– Стоп! – Дворкин ещё плохо понимал, о чём речь, однако в этих странных до неожиданности словах слегка нетрезвого кадровика чуткое ухо его уловило отчётливую ноту столь неизбывной тоски, что не поверить его словам тоже не получалось. И тогда он поднажал, желая докопаться до истины. – погоди, миленький мой. Ты, Коля, хочешь сказать, что знаешь нечто, чего не знаю я, так следует понимать? – Тот кивнул и носом втянул воздух. –

Так и говори, чего ж ты меня интригуешь-то? – спросил и выдавил из себя нечто наподобие улыбки. – Начал, так и закончи: у фронтовиков друг от друга какие тайны?!

– Вам, Моисей Наумыч, я извиняюсь, конечно, дёргаться лучше даже и не начинать, ни по какому, верно вам говорю, – выговорил Николай, дробно покачивая головой и часто моргая в такт своим словам. – Вам лучше б на преподавательстве вашем остановиться. И больше ничего наперёд не мечтать, – добавил он, пряча от Дворкина глаза.

Тот напрягся и сходу воткнул в Фортунатова вопрос:

– Беспартийный потому что – в этом дело? Это имеешь в виду? Хочешь сказать, в партию надо?

На этот раз Коля покачал головой уже со всеми признаками безнадёги:

– Да какое там! Про это и речи нет, это, если что, одолимо, сами знаете.

– Тогда чего? – ещё больше удивился профессор, лихорадочно ища, но не находя грехов, достойных отрешения от продвижения к следующей по очерёдности мечте.

– Меченый вы, – пробормотал Фортунатов, – на вашем деле и пометка специальная имеется, давняя ещё. Года, думаю, от пятьдесят второго где-то – пятьдесят третьего.

– Что ещё за пометка? – округлил глаза Моисей. – Про что, от кого? О чём говорим вообще?

– Не мы – она говорит, что есть вам край. Что больше чем кафедра не подыметесь, если конкретно. И в Академию заказано. В смысле, трудитесь себе, чего хотите, а только – шлагбаум вам по-любому.

– Нет, я всё же не понимаю, – по-прежнему плохо веря в услышанное, пробормотал профессор, – вы же не КГБ какой-нибудь, не органы, ни что-то там такое, где всякую хрень на людей собирают. Вы же обычные кадры высшего учебного заведения для угольной отрасли, и не вам решения принимать, кого, куда и зачем пускать. И потом... Как же от пятьдесят третьего, говоришь, я у вас в ненадёжниках состою, если после Двадцатого съезда поголовно всё расчистили и уничтожили? Всё это паскудное сталинское наследство.

– Ну да, ну да... – печально согласился Фортунатов. – Так и есть, Моисей Наумыч, так и было, я тогда уже вовсю служил, самолично помню. А только где надо, у себя в подвалах лубянских, там они разгребли, а куда ветром ихним заодно надуло, про то не подумали. Оно и зависло. В смысле, конкретно у нас, в кадрах, в Первом отделе. И так повсеместно, не думайте, что вы один такой. У меня товарищ в Институте стали и сплавов, сосед наш, на такую же, что и я, должность поставленный, так он говорит, всё, мол, везде одинаково, что – у них, что – у нас с вами: никто пометок тогдашних ни про кого так и не отменил. И партия тут ни при чём.

– А что тогда при чём? Кто при чём? – Дворкин засверлился гневным взглядом в оба старшинских зрачка и держал его, не отпуская. – Что хотя бы инкриминируют?

– Никто не скажет, Моисей Наумыч, – выдохнул старшина. – Никто и никому. И мне не скажут. Могу только догадаться, из личного опыта, что антисоветчину не шьют ни по какому. Но имеют в виду, что, типа, по краю шагают, кого пометили. А по факту всё чётко – есть установка и есть отметка по ней, на вашем и на любом деле, чтоб не забылось, если там, – он тыкнул пальцем в небо, – позабудется вдруг. У них всю жизнь так – проверяй сам, а после дай товарищу перепроверить, какой на тебя же в периферии трудится. Вот и говорю, что, получается, меченый вы. А как, за что и почему, нам с вами того не знать. Потому что – идеология такая. – Он снова задрал палец в небо, уже готовое к праздничному салюту, и подвёл грустный итог: – Потому что мы такой народ. Такой, и больше никакой.

Про народ не сходилась. Про народ было нечестно и неясно.

– Да мы нормальный народ, слышишь? – внезапно вскричал, почти проорал профессор Дворкин. – Ты меня слышишь, старшина?! Мы народ, который зверя остановил, который

корабль с человеком на борту только так на орбиту зашвырнул, а до этого – спутник! Мы мир от гадины спасли и, если надо, ещё раз избавим, и себя – и всех других!

Вокруг было празднично и шумно, впоперемёнку играли бодрые марши времён военных и не только, и звуки эти, облетая площадь, достигали каждого, всаживая высокие праздничные ноты в самую серёдку наотмашь веселящихся сердец. Ветеранский народ, а вместе с ним молодёжь, родня и детвора смеялись, обнимались и радовались тёплому майскому дню, такому же, какой случился двадцать три года назад. Случился, но не забылся, никем и никогда.

Внезапно на краю неба грохнуло, где-то сзади и сбоку от них. И тут же ещё. И снова. И полетели в небо многоцветные птички, одноразовые чижики, малиновки и колибри, искрясь сыпучей блёсткой, разливаясь весёлыми струями, рассыпаясь маленькими острыми звёздочками, измельчёнными в золотистую небесную крупу. Народ, тот самый и никакой ещё, кричал – всякий, как мог, тянул на глоточном верху своё неподдельное «ура», которое, как теперь казалось Моисею Наумовичу, перестало быть единственно общим для всех, ни по какому не заходя в зону разума, света и добра. Теперь оно принадлежало каждому по отдельности, и этот каждый был в ответе за выпускаемый лишь его горлом ликующий победный крик...

## 4

После той встречи на Девятое мая, оставившей в его душе ужасно нехороший след, он ещё долго приходил в себя, медленно привыкая к новому положению дел. По большому счёту, как он уже понимал, биться ему теперь было не за что, как незачем теперь было проводить и ранее задуманную кардинальную реорганизацию вверенного ему научно-учебного подразделения. И вообще, следовало крепко подумать о том, как строить дальнейшую жизнь – на что и на кого опереться и какое направление в работе, начиная с этого дня, рассматривать как приоритетное.

К этому времени Лёка, закончив восьмилетку, сдал последний экзамен, и Дворкин решил увезти семью к морю, на юг, в Судак какой-нибудь или Коктебель, неважно. Хотелось отвлечь голову от разных мыслей, да и просто пообщаться с сыном, о существовании которого в последнее время он вспоминал, лишь пересекшись с ним при выходе из ванной или встретившись за субботне-воскресным завтраком. После этого расходились по интересам: Лёка – фотографировать натуру, Моисей – убредал в свою обитель, плотно притворив за собой дверь спального кабинета, чтобы, опустившись в полукресло перед письменным столом, кроить и вновь перекраивать творческий план на остаток неясной жизни. Вера же Андреевна, пока не начала работать на Додика, выходные предпочитала проводить вне дома, посещая рынки и косметологический кабинет при Институте красоты, что, недавно переехав, только-только открылся на Калининском проспекте. Должна была выглядеть – чтобы держать форму, к чему обязывало место независимой домохозяйки при научном муже. Молода-то молода, а только и тут прыщик выдавить да заполировать, и там, глядишь, ненужную папилломочку с шеи убрать. В общем, набиралось чего поделать, если поискать. По-видимому, именно эта особенность Моисеевой жены – умение выглядеть так, что остальное в расчёт не принималось, – и отменило первую мысль Додика Бабасяна об абсолютной неисполнимости сотрудничества.

Предложению мужа слетать в Крым обрадовались оба, но при этом каждый желал иметь своё. Первым делом Вера поинтересовалась, почём там санатории.

– Где там? – не понял Моисей.

– На юге, – удивилась жена, – где ж ещё?

– А какие тебя интересуют? – уточнил он. – Что тебя беспокоит?

– Да все интересуют, – пожалла плечами супруга, – и всё беспокоит, особенно нервы. –

И с вызовом посмотрела на супруга.

Звонка от Додика пока ещё не поступало, но ощущение, что он непременно последует и окажется призывным, уже имелось. Это прибавляло уверенности.

– Ну а ты? – обратился он к сыну. – В Коктебеле – Волошин, Карадаг и Сердоликовская бухта, в Судаке – Дженевет-Кая – Генуэзская крепость, четырнадцатый век, консульский замок, прекрасно, кстати, сохранившийся. Что выбираешь?

– Я – за бухту! – высказался Лёка.

– А я за санаторий, неважно где, но не меньше вэцээспээсовского, – жёстко обозначила позицию Лёкина мать.

– Тогда – Коктебель, – подвёл черту Дворкин. – Живём дикарями, снимаем комнату у моря. Будем пить шампанское, «Новосветское», самое лучшее, восемьдесят копеек стакан. Или шестьдесят копеек – бутылка местного «Ркацители». Студенты насоветовали, сказали, после второго стакана ничего прекрасней в жизни уже не будет.

Лёка подпрыгнул на месте и отправился упаковывать оба объектива к новенькому широкоугольному «Киеву», отцовскому презенту на окончание восьмилетки. Вера Андреевна ничего не ответила: развернулась и вышла. Она всё ещё любила Моисея, но за годы сов-

местной жизни так и не смогла до конца определиться в том, было ли её чувство элементарно ответной женской любовью, просто так, ни за что, за самоё любовь как она есть. Или оно уже тогда предполагало будущее профессорство у неправославного доцента-ухажёра, владельца отдельных квадратных метров у черты городского центра. Когда он прикасался к ней в постели, намереваясь слиться телами в супружеском единстве, она всё ещё испытывала женское волнение. Но, думая иногда о его причине, вновь не находила годных для себя объяснений, полагая, что тяга к мужу в такие минуты складывается не только из обязанности быть уступчивой и доброй женой, но ещё и в силу не растраченной Моисеем к его сорока семи годам мужской силы. Он был нежен, могуч и неизменно активен. А порой и неутомим, особенно если незадолго до того что-то там у него удачно складывалось в смысле главных научных дел. А получалось – много чаще, нежели наоборот. Он вообще, как она его когда-то пометила для себя, был везунчик: что по части науки, что по прямому мужскому назначению. И такое предопределение походило на правду. В миг телесного соединения с женщиной Моисей тотчас улетал в миры иные, спирально завихрённые, оглушительно прозрачные – да бог знает в какие ещё. В эту первую, самую невообразимую секунду он уже не помнил, кто с ним рядом, с кем соединился телами и о чём говорил до этого. Он уже стремительно плыл, летел, парил, рассекая податливое пространство, и оно неизменно раскрывалось перед ним, освобождая место его несминаемому потоку. То был редкий для мужчины случай, и об этом своём устройстве он, конечно же, знал. Когда-то, на заре своей мужской молодости, он, подметив за собой эту симпатичную особенность, не стал ей противиться. Оттого и погружался теперь в лёгкую прострацию всякий раз, когда, едва задев бедро обнажённой, готовой к любви Верочки, уже по инерции домысливал продолжение, зная, каким оно вот-вот станет, это очередное путешествие в пространство свободного парения и безумного полёта. И потому, несмотря на нескончаемый запас железоёмких атомов крови и неустанный зов плоти, Моисей Дворкин всё ещё не испытывал потребности в других женщинах. И лишь разорвав объятия и придя в себя, он мог позволить себе поразмышлять о недостатках своей супруги или её же преимуществах перед прочими замужними одноплеменницами.

Они улетели на третий день после того разговора. Когда воздушный корабль рейса «Москва – Симферополь», набирая высоту, прорезал облака, Моисей, сидевший с краю, заглянул в самолётный иллюминатор, надеясь обнаружить в нём остатки земного ландшафта. Однако было поздно: земля, необратимо задёрнутая белёсой мутной ватой, уже не поддавалась видимости. Но почему-то вместо того, чтобы расстроиться или с досадой отвернуться, он ощутил свободу. Да-да, именно её – напоминавшую о себе лишь в минуты озарений, когда он, упоённый внезапным открытием очередного, простейшего из земных способов воздействия на твёрдое тело, подвергаемое сдвигу... после того как он вновь довёл башку до невыносимо приятного изнеможения... когда правила классической механики, соединённые с его так счастливо найденным довеском, вдруг становились непривычными, но точно так же приемлемыми, хотя и пересмотренными с нового удивительного ракурса... – в эти минуты та самая, упоительно новая для него свобода становилась таким же невообразимым открытием. И тогда он следовал за ней, за ним, за ними, спеша, стараясь не упустить тот миг, когда короткое озарение вот-вот начнёт угасать, точно так же внезапно, как и началось, но он успеет выхватить, вырвать из него самое главное – то, что позволяет ему думать и дышать не как все. Он решил, что напишет учебник, самый лучший учебник из всех, какие когда-либо были созданы о его любимом предмете – том, что изучает причины, в угоду которым материалы, сопротивляясь всякому воздействию, не желают становиться вывихнутыми, а силы, оказывающие на них давление, вполне могут развернуться в сторону простого человека. Наука пускай существует отдельно от него, и он не станет строить препон никому из сотрудников кафедры, кто постарается идти его путём в попытке сообщить слово, ранее не сказанное никем, транслировать любые мало-мальски свежие идеи, ломающие законо-

мерности, дальше и глубже которых традиционно заглядывать не принято, хотя вместе с тем и возможно, но только если очень того хотеть, тем гореть, о том мечтать.

Ну и весь лекционный цикл пересмотрит заодно, от и до, предельно обновив его и дополнив. Тоже дело хорошее и нужное. Педагогика – его удел, и уж этого-то он не выпустит из рук, несмотря на чёрную метку власти.

Анастасия Григорьевна, проводив своих, осталась в непривычном одиночестве. Хорошенько поразмыслив, княгиня пришла к выводу, что сам бог дарит ей шанс изведать реакцию соседей-нечестивцев на предварительно обдуманной ею «гнилой» заход в их недобрый адрес. Тем более, уже никто не присовестит и не собьёт прицел. Терпимость или, по крайней мере, нейтралитет в отношении подселенцев, о которых хоть и ненавязчиво, но не уставал намекать зять, временно отступили. Однако никуда не делось и разом усилившееся раздражение, подстёгнутое временно перепавшей вседозволенностью.

Начала с малого, впрочем, иные варианты всё равно отсутствовали. Белым днём, отбросив любую тайность, решила определиться по имущественным правам. Для этого зашла в каморку при кухне, после чего, прикинув усилия, изловчилась и вытолкала оттуда вражеский сундук. Затем неспешными передвижками, упираясь то сбоку, а то и приложившись всем корпусом к фронтальной части, дворкинская тёща дотолкала-таки сундук до прищельской двери. Уже там, на месте расплаты, ей удалось развернуть его так, чтобы длинная сторона сооружения весом под центнер надёжно перекрыла соседям выход из комнаты. Сама же, завершив провокативное деяние, отправилась пройтись по магазинам. По возвращении ожидала любой реакции – чем шумней бы вышло, тем эффективней удалась бы справедливая месть. Да и вообще бы – началось, уже открыто, без всяких яких. На то и был расчёт.

К несчастью, задумка не сработала. Того, на что надеялась княгиня Грузинова, не случилось и близко. Первое мало-мальски серьёзное столкновение сторон, обещавшее излиться наконец уже в нормальное межсоседское скандальеро, давало ей все шансы выстроить боевую стратегию на будущее. Однако увиденное по возвращении с променада вынудило Анастасию Григорьевну избранную ею тактику отменить, поскольку там, где она его оставила, сундук отсутствовал, совсем. На прежнее место его также не вернули, как и не оставили в предложенном варианте. Оставалось лишь догадываться, что предмет пропажи обрёл постоянное убежище в конкретных пределах вражеской территории. Таким образом, враг частично был наказан, но не разбит. Из неприятельских потерь – разве что оставшаяся напряжённость в ожидании дальнейших действий. Но это было лишь предположительно.

После такой неудачи требовалось уже самым непустячным образом сломать себе голову, чтобы заново изобрести очередной коварный ход, который вынудил бы двух наглых развалин к любому виду отступления. Но только что выдумать против существ, которые за годы совместного проживания на Каляевке ни разу, посещая уборную, не покусились ни на один листик резаной бумаги, торчащей из прищипленного к стене тряпичного кармашка. Один раз не поленилась и подсчитала количество бумажек до и после очередного тишайшего визита Деворы Ефимовны в общую уборную обитель – цифра сходилась. Такое поведение врагов многое объясняло. Прежде всего – что хитры и готовы ко всякой неожиданности. Кроме того, умеют держать удар. И наконец, не принимают ответных мер, чтобы, ясное дело, не дать нормальным людям шанса напороться на что-либо незаконное с той, подлой, стороны.

Одним словом, зацепиться было не за что. Деворина, как и Ицхака, верхняя одежда в коридоре отсутствовала напрочь, равно как и любая обувь. Ни вешалки, ни галошницы – ничего: пожилые уроды всё держали при себе, внутри тщательно охраняемого помещения их жалкой жизни. Даже малый шерстистый коврик, лежавший перед неслышной дверью, о который в дни уличной грязи оба вытирали ноги, и тот исчез сразу после истории с сунду-

ком: видно, так же, как и сундук, был насильственно перемещён внутрь скорбной иудейской обители.

Эта зверская стариковская покорность раздражала больше, чем если бы те приняли объявленную наконец войнушку и попытались оказать хоть минимальное, но сопротивление. Идеально, если бы кто-то из них открыл пасть и высказался на болезненную тему – такой случай княгиня не упустила бы никогда. Излила б в лицо обоим всё наболевшее, чтобы поняли наконец, чего из-за них лишилась нормальная семья. Однако те не заходили дальше привычного, поддерживая демонстративным равнодушием шаткий, но устоявшийся мир. Какое-то время Анастасия Григорьевна даже посидела в кухне на табуретке, выжидая появления любого из супругов. Хотела заглянуть в наглые глаза, чтобы осмыслить для себя, отчего они всё же утащили сундук. Дождалась-таки. Выполз Ицхак, прошёл в кухню и, отведя глаза от Грузиновой, набрал банку воды – цветочки свои, наверно, полить уродские. И молча удалился, никак не выразив любого недовольства. Она всё же успела выкрикнуть ему вслед, этому неприятному Ицхаку:

– И не ставьте больше сундуки куда не положено!

Регулярные, примерно одноразовые в месяц исчезновения соседней на срок от двух до трёх суток также не могли оставить Анастасию Григорьевну безучастной к этому не до конца выясненному ею делу. Скорей всего, скрывалась за этим некая плохая тайна – просто кожурой чувствовала, и потому каждый раз, видя, как те выползают в коридор с небольшим дорожным саквояжем, намереваясь покинуть квартиру, она уже знала, что ночевать не будут две или три ночи.

Очередной отъезд подселенцев пришёлся на середину срока крымского вояжа домашних. Она и сама, как только те притворили за собой входную дверь, скоренько собралась и вышмыгнула за ними – проследить за тайными перемещениями пары. Подумала, может, наростет чего-нибудь подозрительное из жизни стариков и это можно будет использовать в борьбе за свои права.

Они сели в метро на «Новослободской», а вышли на «Киевской». Всё это время Грузинова, неприметно следуя их маршрутом, не упускала обоих из виду. Далее Ицхак, бережно поддерживая супругу под локоток, провёл её на перрон, к поездам дальнего следования. Там они, облокотившись о вокзальную стену, ждали, пока объявят посадку. Её вскоре и объявили – на Киев, отправлением со второй платформы третьего пути. Они и двинули туда, она – за ними, держа тайную дистанцию. Так и проводила, хоронясь, вплоть до вагонной подножки. Ну а дальше был выбор – возвращаться в обезлюдевшее жильё или же – по шпалам, вслед дальнему поезду, уносившему Девору и Ицхака в киевском направлении, ближе к их кровавой тайне.

В тот день Анастасия Григорьевна вернулась злая. Чертыхалась. Честно говоря, рассчитывала, оперевшись на пронзительную интуицию, выведать много больше. Было скучно и одиноко, по крайней мере три последующих дня. Однако состояние неприкаянности длилось не более чем до того момента, когда старики вернулись домой и жизнь на Каляевке вновь сделалась осмысленной. Всякий раз по возвращении, если удавалось столкнуться лицами, Грузинова подмечала в них не то чтобы некоторую добавочную усталость, но и нечто, что ненароком пробуждало в ней слабую жалость к двум несчастным недобиткам. Те же, объявившись, будто снова испарялись, подолгу не выходя из комнаты, – видно, с немалым трудом восстанавливали остаток сил.

«Не дай бог, помрут в одночасье, – подумала она как-то раз после того, как те, измождённые дорогой, в очередной раз вернулись на Каляевку, – откинута, так ещё неизвестно, каких сюда после них барбосов подселят, если нам площадь обратно не вернут. Даже и не знаешь теперь, чего лучше – чтоб так и дальше тянули, как трепыхаются, или чтоб концы отдали и – с приветом...»

Пропажу сундука никто, кроме Лёки, не заметил. Когда все они, загоревшие и отдохнувшие, каждый от собственных радостей жизни, вернулись домой, Лёка первым делом понёсся в кладовку, за фотоувеличителем: собирался печатать отснятое в Коктебеле.

– Нет, правда, а где сундук-то соседский? – удивился Моисей Наумович, обратившись к теще. – Мыши съели?

Та отмахнулась, кивнув в сторону соседской двери:

– Да забрали. Втянули к себе, как удавы, и теперь, видно, переваривают. Не знаю, какое там у них золото-серебро имелось, а только воздух по-любому чище будет – пыли меньше и нам свободней.

Это было странно. Подселенческий сундук этот помещён был в общую кладовку в день переезда соседей на Каляевку и последние пятнадцать лет недвижимо пребывал лишь там и больше нигде. Они, кажется, за все годы даже ни разу его не открывали, просто держали при хозяйстве, не более того. Они вообще были странные, хотя чужаковатость эта никому, в общем, не мешала. Теперь же, после истории, случившейся на Девятое мая, Дворкин вернулся памятью к этой странности своих соседей. Подумал вдруг, что не сами органы, хваткие до идиотских и абсолютно бесчеловечных инициатив, а некто иной затеял с ним эту подлую игру, запустив куда надо ещё тогда, в пятьдесят третьем, бумагу на него, тогда ещё доцента. Может, расширяться хотели за счёт его семейства, тишайше строя из себя мирных одуванчиков? А сами настроили что-нибудь типа «связан с международной еврейской буржуазно-националистической организацией, созданной американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах». Или что «по сути своей является безродным космополитом, какого имеем возможность наблюдать ежедневно, проживая в одной с ним коммунальной квартире». Сами евреи и на еврея же донесли – ну как не поверить, не выслать неотложную чёрную метку в Первый отдел по месту научной карьеры и трудовой педагогической деятельности. И с тех пор несъёмный колпак этот так и сидит на нём все пятнадцать долгих лет. Теще он, разумеется, о возникших подозрениях не сказал ни слова, даже взглядом себя никак не проявил, дабы с лёгкой руки не разгонять в ней излишней, никому не нужной ненависти. Да и сам уже сожалел, что поддался минутной слабости, заподозрив несчастную пару стариков в такой совершенно немыслимой подлянке.

Обо всём этом думал он и через десять месяцев, когда они с Лёкой летели в Свердловск, где скончался отец, Наум Ихильевич. А ещё, слепо уставившись в чёрный иллюминатор, он размышлял о том, что не так, в общем, и удивительна история с этой неотменной чёрной меткой. Если они посмели танки в Прагу ввести, если смогли убить мирных людей, городских жителей, посмеявшихся высказаться против удушения гражданских свобод, то чего уж говорить о жалком сопроматчике, недовольном, видите ли, конкретным местом, занимаемым им в отдельно взятой ничтожной жизни.

«Боже, – думал он, – кто бы мог подумать, что через двадцать три года после победы я, гвардейский капитан Моисей Дворкин, доживу до второго взятия Праги советскими войсками».

За всё время после войны Моисей летал к отцу раза два-три, не больше. Иногда звонил, проверить здоровье и так, отметить по-сыновьи. А если начистоту, просто не получалось простить отцу маминой смерти. Сам-то толком не знал, просто не мог знать, находясь в то время на фронте, но после шепнули ему, там уже, в Свердловске. Нашлись сердобольники, донёсшие, что ушёл отец его от мамы, ещё в войну, к той, что моложе и при должности. К докторице. Ну жена и не сдюжила, ушла раньше положенных лет. Лёку он однажды взял с собой к деду – просто показать друг другу, уже зная, что в последний раз. Вера, та желая знакомиться не изъявила, даже в разовом порядке, чувствуя, что проскочит и так. А Лёке было интересно, что за дедушка у него такой, неизвестно где живущий. Ему было лет пять или около того, и дед ему тогда понравился, тем более что другого не было. Но там ещё была

чужая бабушка, которая была новой женой дедушки. Не слишком приветливой оказалась, учуяв, видно, непрошенных наследников. В общем, путаница. Со временем, уже не общаясь, Лёка про деда, можно сказать, забыл. И никто ему особо о нём не напоминал, раз уж всё так невесело вышло само.

Пока летели, Лёка настраивался на репортажную съёмку. С одной стороны, слегка переживал, что придётся присутствовать при настоящих похоронах родного деда. С другой, был несколько на взводе, оттого что снимки его сделаются частью семейной истории, несмотря на то что затронут наиболее трагический её параграф. В любом случае, важно было зафиксировать неподдельное человеческое горе – именно так он прочёл в «Учебнике для фотографа», в разделах «Основы фотографии» и «Композиция». Искусственный свет в репортажной съёмке почти не присутствовал, как и при работе фотографа, описанной в главе «Жанровая сцена», и потому Лёка сосредоточенно обдумывал, как будет лучше и верней выстроить кадр с дедушкиным гробом и с какого ракурса выигрышной начать.

Когда приземлились, первым делом поинтересовался у отца:

– А у них есть где плёнку проявить? Или уже дома проявлю?

– Рот закрой, – впервые в жизни Моисей Наумович грубо оборвал сына. – Не всё в жизни измеряется условиями для съёмки, есть ещё кое-что, чему не мешало бы поучиться. Имей хотя бы минимальное уважение. И не щёлкать ты там должен, а у гроба стоять. Щёлкают пускай тебя, с мёртвым дедом и живым пока ещё отцом, это и будет память.

Сказал, будто в голову заглянул.

Внутренне Лёка сразу согласился, даже не стал на эту тему размышлять. Разве что немного удивился непривычной для отца резкости, с которой тот выдал эти слова.

Он не стал ничего снимать. Просто смотрел, как, вынеся гроб на улицу, какие-то люди поставили его на табурет, после чего, выдержав с пяток минут для прощания с соседями, они же задвинули его в автобус, так чтобы дедовы ноги шли вперёд, и тот тронулся в направлении местного крематория. Вдова Наума Ихильевича уехала тем же автобусом, сопровождая гроб. Она всё больше молчала, изредка перекидываясь короткими фразами с участниками похорон. Сами же они поехали вслед автобусу на другой машине. Дворкины никого тут не знали, и обоим было непонятно, как себя вести. Лица, что у сына, что у внука, хоть и не были затянuty подobaющей случаю скорбью, однако факт смерти близкого родственника явно печалил их, и немало.

Потом были слова, разные, от тех, с кем покойный трудился в годы войны, и от тех, кто знал его в послевоенной жизни. А потом Лёкин дедушка уехал вместе с гробом куда-то вниз, и за ним задёрнулись прощальные шторы.

На поминках было немногословно. Перед тем как выпить поминальную рюмку водки, Моисей Наумович поднялся и произнёс слова, прощаясь с отцом уже в последний раз:

– Мне жаль, отец, что мы виделись с тобой так редко. Что жизнь наша оказалось совсем не такой, какой могла бы стать. Что за эти годы у тебя вырос внук, Лёва, которого ты почти не знал, и поэтому, пока рос, он был лишён дедушкиной ласки. Судьба раскидала нас по разные стороны жизни, и мы сами виноваты, что в своё время не подправили эту судьбу, хотя, наверно, и могли...

Больше говорить было нечего. Любое слово чуть в сторону от жизни или смерти уже так или иначе стыковалось с вдовой. Та же, как он понял для себя, по-прежнему продолжала откровенно недолюбливать московскую родню, хотя открыто никогда в том не признавалась. Просто игнорировала её существование, не упоминая в разговоре с мужем имён и не задавая вопросов. Об этом ему тоже успели шепнуть, кто-то из хоронивших отца недоброжелателей, пока все грузились и отправлялись. Что-то во всём этом было не так, но ни сил, ни нужного настроения, чтобы вникнуть ещё и в это, не было. Имелось одно-единственное желание – отдав долг сыновней памяти, убраться восвояси. Он и Лёку с собой потащил в этот далёкий Сверд-

ловск не просто так, а чтобы было с кем перекинуться словом среди абсолютно чужих людей. Поначалу даже упоминание матери, первой и когда-то любимой жены покойного, Моисей Наумович постарался опустить, догадавшись, что за этим столом существуют и запретные темы. Но не удержался-таки, сказал, прощаясь уже совсем:

– У нас самолёт вечером, а мы хотели ещё на кладбище заехать, на мамино, пока не закрылось. Навестить и, может, рассказать о папе. Она ведь тоже должна знать, она же его до самой смерти любила. Она и на фронт об этом писала мне. Вот... может, встретятся теперь где-то на небесах... – Он коротко кивнул Лёке, и тот незаметно выбрался из-за стола.

Это была ложь, про письма. Мама не писала об отце. Письма за все годы, пока сын находился на передовой, вообще находили его едва-едва: чаще попадали под бомбёжку, терялись, не доносились армейской почтой. Но в тех, что оказались в руках, не было ни слова об отце, будто того не существовало вовсе. Он тогда ещё удивился, подумал, запомнила мама, как это может быть – ни от самого отца в письме ни строчки, ни от мамы про него. Потом, через годы, догадался, что, верно, уже в ту пору был меж ними разлад, и, судя по всему, не пустячный. И ещё подумал, что мама поступила с ним нечестно, умолчав об отце, – нужно было подменить тогдашнюю правду, солгать сыну хотя бы по милости войны, из чисто родительских соображений, которые не знают, не ведают бессердечности, а лишь стремятся сделать ребёнку хорошо, доложить ему на душу любви, уверенности и покоя. А дальше бы разобрались, когда фашиста б задавили и вернулись в мирный дом.

А ещё он солгал про самолёт – рейс был утренний, хоть и ранний. Просто хотелось избежать неловкости, если бы предложили остаться в доме мачехи на ночь. Моисей Дворкин знал, что поступил как минимум некрасиво. Или даже подло. Однако не мог сдержаться себя, не получилось. В дверях, когда уже вышли с сыном, он, обернувшись вполборота, бросил отцовской вдове:

– Имейте в виду, нам ничего не надо.

– Мне тоже, не переживайте... Мне вообще без него ничего не нужно, – отрешённо глядя в сторону, отозвалась та и закрыла за ними дверь.

«Сука она всё же, – подумал он тогда, – жаль, что лицо хорошее, как будто забыли поменять, когда подлостью этой награждали...»

Оттуда они, взяв такси, добрались до городского кладбища, успев незадолго до закрытия. Нашли могилу, молча постояли. Дворкин щёлкнул сына возле могильного камня. Затем Лёка – его, в той же позе. На этом взаимная фантазия исчерпалась, дальше путь им лежал в аэропорт, где они и провели остаток времени, ожидая рейса на Москву.

Маме он, как и обещал за поминальным столом, сообщил о смерти отца. Довольно безучастно, чтобы не переходить на личности. Не понимал, как поступить лучше – на тот случай, если она где-то поблизости. И сына не постеснялся, говорил вслух, не про себя, – что чувствовал, то и выдал в воздух, окружавший кусок чёрного мрамора. Перед уходом смахнул снег с оградки и коротко всплакнул, удивившись несдержанности слёзных желёз.

Чуть позже он ещё раз прокрутил в памяти события прошедших суток, уже когда самолёт шёл на посадку и в проёме иллюминатора обнаружили нарезанные на прямоугольники и квадраты, в заметных проплешинах подмосковные поля, ещё не до конца освободившиеся от остатков тающего снега.

– Схоронили? – первым делом справилась тёща, когда они, не спавшие, добрались до Каляевки.

– Схоронили, баб Насть, – ответил за двоих Лёка, – и у той бабушки тоже были, на кладбище. У другой.

– Да ты что? – всплеснув руками, изумилась княгиня. – Ну вы, братцы, даёте! Одним днём обернуться и везде поспеть – прям стахановцы! – И тут же снова озадачила: – Ничего там, случайно, не перепало нам?

Моисей строго глянул на тещу, пытаюсь урезонить её пыл.

– Нет, ну а чего такого? – едва ли не возмутилась Анастасия Григорьевна, округлив княжеские очи. – Это ж для ребёнка, для Лёкочки. Покойник ему как-никак дед родной – а, Моисеюшка? Жена женой, а только остальную родню никто ж не отменял, всё по закону, я узнавала: вторые полста процентов поровну на всех, кто с первой линии по части кровных уз. Надо было не назад ехать, а к нотариусу. Сказать, так, мол, и так, зафиксируйте, что – сын. И сообщите нам о принятом решении по разделу имущества.

– О доле в наследстве! – со злостью оборвал её Дворкин. – Раздел – это при разводе. А я, кажется, с отцовской вдовой не разводился.

– Ну ты, знаешь, тоже не умничай. – Княгиня явно не поддавалась минутному раздражению зятя. – И знай ещё, Моисей, – не подсуетишься, так оно и уйдёт потом в чужие руки, всё, что от бабушки твоего осталось. И не с кого после спросить будет, раз сам же и просрал, прости господи.

Она была почти на шесть лет старше зятя, и это добавляло Анастасии Григорьевне уверенности в те нечастые минуты, когда она решалась приоткрыть рот в адрес головастого дочкиного супруга. Если втайне, даже от дочки, то немного смущало неблагородное происхождение Дворкиных – в том смысле, что и отдаленно не имело при себе мало-мальски русского, исконного, понятного, своего, не говоря уж о корнях аристократических, какие имелись у них, Грузиновых. Но вместе с тем не могла не оценить и светлой его, просторной для ума головы, как и его отношения к дочке Верушке, взятой голой и босой из ниоткуда, и его же могучего мужеского начала, в прямом отношении, в постельном. Бывало, даже через стенку ночами доносилось до бодрствующих тещиных ушей, как тот на Верке охал и рычал, прошибая её чуть не насквозь. И так, считай, без укороту, будто б только днями с ней сошёлся и ещё близко даже не насытился.

В смысле прямой женской красоты Анастасия Григорьевна всегда полагала, что лично ей повезло пуще дочкиного. Природа хоть и северная, а постаралась всласть: что пальчики эти, что пузик ничуть не выпуклый, не как у её Веруни, где линия животика уже заметно для глаза потихонечку начинает выдавать несовершенство телесного контура в целом. И кожа, где ожидала, не морщит, а могла б. Волосы, правда, подвели, но так сама же в том и виновата – химию не ту применила и пожгла. А теперь когда ещё отойдёт вся эта гадость, чтоб новое уродилось на месте унылого пепелища. Но только и на оставшиеся нетронутыми красоты зять смотрел так, будто метил сквозь них в стену, ища на ней совершенно другие виды. Получалось, что такое его отношение, вежливое, но больно уж выдержанное, не позволяло княгине идти на сближение с ним больше разрешённого. И это хитроумное зятево поведение порой обижало. Однако это и был тот самый случай, когда ни пожаловаться некому, ни самому высказать в лицо.

– Ладно, разберёмся, – отмахнулся Дворкин, – дайте хотя бы прийти в себя после самолёта.

Сам же, снимая плащ, думал уже о другом, об этих Рубинштейнах: «Нет, всё же не они это... просто не могли, ну никак... Да им самим впору вешаться от этой затянувшейся безнадеги: ни детей, ни друзей, ни родных, ничего, никого. Даже с соседями, и с теми не повезло: княгиня воркутинская, чует моё сердце, так и будет гнобить их всеми способами, какими умеет. Загадит всю каляевскую ноосферу к чертям собачьим. Или я ни хрена в этой жизни не смыслю».

К новой ипостаси он привыкал медленней, чем был его первоначальный настрой на разом изменившуюся жизнь, когда он уже почти смирился со знаком дьявола, спущенным в кадры учебного заведения около двадцати лет назад. Нехорошие пульсации всё ещё подступали близко к горлу, сдавливая гортань, но порой резко отекали куда-то вниз, целиком высвобождая грудь для ровного и полного дыхания. В такие минуты он терялся, не понимая,

какое из ощущений верней. Кроме того, мешала досада, оттого что совершенно не с кем было поделиться этим проклятым делом, какое свалилось откуда не ждал. Сперва, ища вариант для исповеди, он подумал о Лёке, как о наиболее близкой к нему, надёжно родной душе. Но, пожив какое-то время с этой мыслью, решил, что тот не созрел ещё до сочувствия в нужной форме. С другой стороны, и не с Анастасией же свет Григорьевной про такое балакать – тоже дело понятное. Так с кем? И вдруг сообразил, что совершенно не подумал о Верочке, жене, – той, с кем прежде всех остальных должен был поделиться дурным известием. А ведь даже и случайно в голову не залетело. И это была новость под номером два, хотя и сильно запоздавшая – супруга, Вера Андреевна, уже который месяц трудилась на ответственном направлении, замзавотделом крупного гастронома неподалёку. Сами позвонили и сами же позвали, летом ещё, сразу после Коктебеля. Для чего, почему, зачем – оставалось загадкой. Как и её моментальное согласие, ещё до разговора с ним. Отчего вдруг такая, ни с того ни с сего, внезапность? Жажда перемены жизни? Неужто, думал ущемлённый супруг, всё это из-за охлажденного говяжьего филея и отрубка свиного зада, которые с первого трудового дня его жены не переводились в семейном морозильнике. Плюс, считай, дармовые сосиски от Микояна, заменившие привычно целлюлозные по рупись девяносто, и густейшая, потому что ещё не успели разбавить, сметана.

Сама Вера Андреевна была абсолютно счастлива, и этого нельзя было не заметить. По крайней мере, ко дню смерти свердловского свёкра её торговая страсть отнюдь не остыла. Скорей наоборот, на глазах у собственного мужа профессорша Грузинова-Дворкина, будто неуправляемая чума, набирала дальнейшие обороты. То был прорыв в манящую неизвестность – только такое объяснение удивительной перемены в жизни супруги, ранее не отмеченной усердием к любому системному занятию, мог дать всему этому Моисей Наумович, подвергая ситуацию в семье беспристрастному анализу. И всё же внезапная жёнина самостоятельность отчасти напрягала, потому что понял вдруг, что незыблемый статус его как добытчика и головы всему заметно покачнулся. Нет, вроде бы всё текло, как и прежде, со всеми нужными изгибами и поворотами, отвечая привычному укладу жизни в ходе всех пятнадцати совместно накопленных лет. И вместе с тем было ощущение, что происходит нечто чужеватое, постороннее, не своё; и это «чужеродное» вносило в отношения супругов некую новую, не отыгранную покамест, но и не прописанную ещё ноту. Это если вообще отбросить и растоптать, как пустое, суждение общего характера относительно избрания благородным человеком занятия, годного для продолжателя княжеского рода. «Торгаш». Некрасивое сочетание букв слышалось уже в самой приклатнённости их звучания, в этом мягко шипящем окончании, в той лёгкой пренебрежительности придумщика этого слова в отношении его носителя.

– А что, кстати, Анастасия Григорьевна-то говорит насчёт твоей работы? – озадачил Моисей Наумович жену ещё в начале её магазинной карьеры.

Та пожала плечами, то ли не придавая такого уж важного значения материнскому благословлению, то ли, наоборот, удивившись, что у матери с дочкой вообще возможна в этом смысле какая-либо нестыковка.

– Как «что говорит»? Говорит, повезло. И что надо стараться, чтобы двигаться дальше, потому что это направление деятельности во все времена было самым достойным и уважаемым для человека культуры и труда. Мы их культурно обслуживаем, они взамен отдают нам труд. В смысле, зарплату от него. И ничего позорного ни для кого. – Верочка вопрошающе вскинула на мужа глаза и уже на чуть повышенных тонах добавила, верно учуяв, что, вместо круговой обороны, ей лучше расставить предписывающие дорожные знаки. – В конце концов, я же не ящики двигаю и не за кассой горбачусь. Да и не за прилавком хамлю. За мной – учёт и контроль. Ну и материалка на кондитерской секции, временно, для осво-

ения дела. Ничего не поделаешь – ответственность. И я её принимаю какой есть, по всей товарной номенклатуре.

«Князи, мать вашу!» – чертыхнулся про себя Дворкин, понимая, что любое сопротивление или супружеский совет уже не помогут.

Здесь обнаруживалось гораздо более сильное начало, ожидавшее и дождавшееся своего часа. В этом месте наружу выползло уже само исподнее, не стыдясь оказаться быть выпущенным на всеобщее обозрение. И даже более того – откровенно своей демонстрацией довольное.

«А плевать... – передумал он уже чуть потом, постепенно привыкая к мысли, что жена его – магазинщица. – Раз сам ущербный, то чего уж теперь с моста в воду плевать, обратно не потечёт и чище не делается. Пускай потрудится: в конце концов, может, со временем разберётся, когда от своих же по шапке получит. Главное, чтобы на кафедре не признали, иначе – как сотрудникам потом в глаза смотреть? Скажут, раз жена воровка, то и сам недалеко от неё ушёл, ветеран ряженный. И все эти разговоры его про честность и долг преподавателя перед студентом – типичная приспособленческая мишура».

Походя вспоминалось вето, то самое, пожизненное, – метка, спущенная «голубыми мундирами» на его безвинную личность.

«Что ж, раз они с нами так, то мы с ними – вот как! Какие – они, такие, стало быть, и сами мы. Экий у нас, получается, преданный народ в стране невытой рабов да господ, мать вашу. А ещё кровь за этих гнид проливал», – никак не успокаивался Моисей, возвращаясь памятью к предыдущему Девятому мая, ставшему днём скорби и печали по самому себе.

Впрочем, тут же опускал себя на землю, раскаиваясь в словах, не произнесённых вслух, но вообразённых; единственная кровь – так уж повезло за все фронтовые годы, – которую пролил и видел своими глазами, была не вражеской и не от самого себя. Та кровь принадлежала чешской гражданке, невинной девочке, которой он, геройский офицер, сумел испоганить молодость и жизнь через свою подлючую мужицкую похоть. Вот и выходит теперь, что сам же на себе испытывает прямую месть торсионного поля, мать его в дышло...

В общем, Веру, уступив её порыву, не трогал – дал жене унылую отмашку оккупировать манящую неизвестность. Спорить тоже не решился, поскольку понимал, что препираться пришлось бы уже не с ней, непробиваемой, а лишь с бледной тенью её. Слова, какие бы приводил для усиления личной позиции, наверняка не продрались бы в её недоразвитую и малочувственную серёдку. А те неумные аргументы, какими бы Верочка его отбивалась со всей возможной горячностью, не делали бы её лучше. И этого Моисей Дворкин, защищая не столько жену, сколько самого себя, уже не собирался проверять. Тем более что так и так хозяйство оставалось на теще-княгине. Разве что Лёка, бедолага, терял последний шанс полнокровного общения с ещё одним родителем.

От этой удачно нашедшей её работы Вера Андреевна уставала немерено, и ей требовался отдых. Однако, к удивлению Моисея, его жена не только не жаловалась на жизнь, но, как ему казалось, даже испытывала некоторую приятную истому от такой усталости. Признаться, семейство и на самом деле стало питаться разнообразней и сытней – тут и говорить нечего, хотя, как таковых, денег хватало и раньше: Моисей за этим следил, донося в семью сколько нужно. Брал аспирантов, писал бесконечные отзывы, публиковался тут и там, выпускал монографии и даже иногда не брезговал готовить абитуриентов к вступительным экзаменам по физике. Ну и сама должность плюс доплата за степень, – одним словом, видимого недостатка не имелось. А только лёгкого пути к питательному дефициту любимая кафедра вместе со всей наукой всё равно не предлагала. Тут и вышла на авансцену жена, после чего Грузиновы-Дворкины зажили в новых обстоятельствах. Сам – неприметно стесняясь, а то и тайно стыдясь. Остальные – потребляя носимое работающей дочерью и мамой, и не абы как, а отдавая должное отдельным пищевым продуктам и одобряя такую заботу Верочки о семье.

## 5

Письмо из Свердловска пришло вскоре после их возвращения. Вера принесла его, вытащив из ящика, и бросила на стол:

– От мачехи! Поди, лютует, что в гости не позвали. Толстое!

Конверт и на самом деле слегка распирало изнутри сложенными, видно, вчетверо листами. Моисей ушёл к себе, притворил дверь, распечатал. Почерк был крупный и ровный, с одинаковым по всему тексту наклоном. Вдова писала:

«Здравствуйте, Моисей Наумович!

Признаться, до последнего дня имела сомнения относительно того, стоит ли мне Вам писать. Потом, подумав, всё же решила, что теперь уже в этом будет несомненный смысл, поскольку обстоятельства, как Вам известно, поменялись, и ничто более не удерживает меня от того, чтобы высказаться, поговорить начистоту с ближайшим родственником покойного Наума Ихильевича.

Скажу сразу – не знаю, кто и о каких фрагментах истории нашего с Наумом знакомства Вам рассказывал. Не знаю, не хочу знать. Как известно, недругов всегда оказывается больше, чем непритворных доброжелателей. Но только все годы, начиная с сорок второго, я безумно любила Вашего отца, видя себя с ним и только с ним. Вы же, скорей всего, с самого первого дня держали меня за хищницу, в трудные военные годы заполучившую Вашего папу, человека более чем притягательного и к тому же при должности. Наличие у него жены, как Вы, наверно, тоже представляли себе, не стало помехой – на то они и разлучницы, чтобы уводить мужей, даже когда страна воюет, а супруг день и ночь не покидает горячего цеха.

Да, именно так, в таком режиме и существовал Ваш отец два первых военных года. И именно они положили начало его болезни, от которой чаще сразу умирают, нежели годами одолевают потом медленную смерть. У него и до этого было неважно с сердцем, но только он, предполагая это, ничего не предпринимал для сохранения здоровья. Знала об этом и жена его, Ваша мать, Моисей. Знала, но не слишком заботилась о возможных последствиях регулярной боли в груди у Наума Ихильевича. Даже сейчас, когда столько лет жизни позади, жизни и смерти, я не могу, не имею права называть Вашу маму женщиной легкомысленной. Такое часто бывает в семьях, когда супруги, даже любящие, живя делами и пустяками, забывают о смерти, которая всегда рядом – только ошибись. Не считите мои слова за наставительность, просто я знаю это как врач. Надеюсь, хороший, уж извините за подобную самооценку.

Так вот, о Вашем отце. Ему вообще нельзя было работать, в его годы и в таких ужасных условиях. Однако война есть война, и тыл есть тыл, тем более уралмашевский. Он как никто это понимал, потому что был патриот. Дня не проходило, чтобы не следил он за сводками с фронта, не думал о победе и не ждал её. С самого начала верил, что фашист не возьмёт Москву, несмотря что подлый вождь сделал всё, чтобы это случилось. И Наум это знал, потому что был он чрезвычайно умный человек. Умный и сердечный, оттого и принимал всё близко к своему больному сердцу. Впрочем, это особый разговор, Моисей, про историческую правду, про ложь вождей, про то, как одни слепо верили в неё, другие же, ненавидя лживых подлецов и людоедов всех мастей, умели бороться с врагом собственным трудом, мечтая приблизить победу и наивно ожидая возврата вместе с ней любой справедливости. Но не за этим я теперь к Вам пишу, простите уж за излишние слова. Я знаю, что именно думаете Вы обо мне, я видела Ваши глаза и не могла не заметить Вашей ко мне тщательно скрываемой неприязни. Так было и в прошлый раз, и визитом ранее. Но только мы с Вашим отцом, понимая Ваш не слишком позитивный настрой в отношении меня, старались ни видом своим, ни поведением не выдать той глубокой болезненности, которую нам каждый раз приходилось испытывать в те редкие дни, которые Вы проводили в нашем доме,

чтобы побыть возле отца. Знали, что поступаете формально, для деликатного поддержания родственных связей, однако сердцем Вы уже не были с ним, не умея простить смерти Вашей мамы. Он переживал, страшно. Но правды сказать не решался, опасался нарушить, изменить Вашу память о матери, хотя, на мой взгляд, сделать это нужно было непременно. Да и кто мог знать, как после этой, пускай и досадной, правды сложились бы Ваши отношения. Вполне допускаю, что, узнав истину, Вы сумели бы простить Вашу маму за её супружеское предательство, за подмену высокой любви пустым и обманным суррогатом. Не знаю, была ли она такой всегда или же военные обстоятельства и тяжёлая болезнь Наума Ихильевича привели её к тому, к чему привели. Не мне судить, я знала её лишь поверхностно и потому сужу не по чувству, а по поступкам. Да-да, именно так – теперь мне ничто не мешает обратиться к истине, той самой, единственной. Знаете, вряд ли я решилась бы на это, коли бы всё ещё не любила Вашего отца так сильно. Но теперь, когда его больше нет, – имею право: я чувствую это и потому поступаю именно так, Моисей. А ещё потому, что не она, а я спасла Наума от смерти в тот страшный для него год, когда после сердечного удара последовал сильнейший инсульт, практически обездвигивший его, сделавший его недочеловеком с минимальными видами на любую жизнь, не говоря уже о мало-мальски сносном здоровье.

Она тогда растерялась, Ваша мама, словно удар был не у него, а у неё самой. Отец Ваш – недвижим, с несвязной, едва разборчивой речью, то и дело ходящий под себя, не помнящий никого, слепо глядящий в потолок и пускающий слюни в подушку. Вот так! Я же, как лечащий врач, была при нём практически неотрывно. Не знаю, что заставило меня поступать именно так, ведь в ту пору мы едва были знакомы. Знали разве что друг про друга нечто: оба из столиц – он из главной, я из северной, Ленинграда. Он женат, я разведена. У него сын, я бездетна. Ну и улыбались иногда при случайной встрече в доме общих знакомых, таких же эвакуированных, какими были все мы. Тот к ним тоже ходил, когда звали, снабженец, уралмашевский. Улыбался всё, похохатывал, будто всегда доволен жизнью. А из ушей вечно волосы торчали, я не могла смотреть просто. Она к нему ушла потом, Ваша мама, когда с отцом всё случилось. Не сразу оставила его, но и не так чтоб долго раздумьями мучилась. Но об этом чуть потом.

Спросите, почему не на фронте оказалась, коль скоро врач? Просилась. А только в приказном порядке в тыл отправили, ещё до блокады: сказали, мол, те, кто танки выпускает, не меньше фронту нужны, чем обычные бойцы. Один толковый танковый инженер взвода пехотинцев стоит, если не целого даже батальона. И поддержка их работоспособности и здоровья стране важны не меньше, чем воюющим солдатам. Вот и поехала поддерживать и лечить военных тыловиков, таких как Наум Ихильевич. Ко мне же его и доставили, как только удар тот случился...»

Моисей отложил письмо, не в силах читать дальше: гортань свело судорогой, глаза намокли, буквы, расплываясь, уходили в расфокус. Пальцы рук слушались едва-едва, с трудом сгибаясь в суставах. Он уже всё знал. Понял, ещё не достигнув места, на котором оборвал чтение. Башка плохо подчинялась, мысли металась между двумя мёртвыми и равно дорогими ему стариками – матерью и отцом. Кто для него отныне становился кем и отчего так случилось, в этом, если по-хорошему, теперь ему следовало разбираться не спеша. Но чувствовал, не будет на это сил, не станет он, не захочет. Поддержит какое-то время в себе, ни с кем не делаясь, а потом видно будет. Главное, что ему делать теперь со старухой-вдовой, этой удивительной врачихой, которую он совершенно не знал, и, откровенно говоря, даже минимально не напрягался, чтобы хотя бы как-то узнать. Да и отец его к тому никак не подталкивал, делая вид, что ему всё равно. Теперь же она пережила любимого, и нет сильней одиночества, чем такое.

Дверь приоткрылась, Лёка, сунув голову, протараторил:

– Пап, мне на проявку бы, а? Хочется побыстрее напечатать. Где у тебя взять?

– В прихожей, в плаще поищи, – не оборачиваясь, отозвался Моисей.

– Угу, – буркнул сын и исчез.

Следом за ним в дверном проёме возникла тёща и тоже справилась, уже о своём:

– Там Веруня фаршу свежего принесла, с охлаждёнки, с говяжьей. Так на сегодня котлет нажарить вам или до завтра подержать? Ты как, Моисей?

– Мне всё равно, – снова не обернувшись, через полусжатые губы бормотнул Дворкин, – хоть сейчас, хоть никогда.

– Чегой-то так, – насторожилась тёща, – на работе, что ли, чего?

– Дверь, пожалуйста, закройте, Анастасия Григорьевна, – отчётливо произнёс он, стараясь унять подступающее раздражение, – я вам уже ответил. И дайте мне работать.

Та, полная недоумения, исчезла.

«Одиночество... – вдруг подумалось ему. – Я понял... это же так просто... Это когда снаружи больней и гаже, чем внутри... Главное, научиться не получать от этого удовольствия, иначе – труба, увязнешь и начнёшь казнить, даже не успев осознать причин... Говорят, всякий, кто любит одиночество, или Бог, или дикий зверь. Кто же я в таком случае? – продолжал размышлять Моисей, уткнувшись глазами в исписанный вдовой листок. – На Бога явно не тяну, да и звериного за собой не замечал. Может, просто неудачник? Заурядный мудель, продавщицын муж, возомнивший о себе невесть чего? И может, они верно мне метку эту кинули, чтобы знал место и перестал быть клиническим идиотом?»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.